

Владимир Огнев



**ЗЕЛЕНОЕ,  
КРАСНОЕ,  
ЗЕЛЕНОЕ...**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»







Дорогой маленький!  
Поздравляю тебя, с днём  
рождения!  
тебе всего самого  
лучшего и наилучшего.

Совет доброго и дружеского  
чл. "Советский" П. Р. З.  
июнь 1973 г.









Владимир Орнев

ЗЕЛЕНОЕ,  
КРАСНОЕ,  
ЗЕЛЕНОЕ...

П о в е с т ь

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА · 1972



В книге рассказывается история двух друзей, один из которых погиб на фронте в Великую Отечественную войну, а второй читает дневник погибшего. Это повесть о войне, юности и памяти детства. В ней много поэзии, может быть, потому, что один из героев имел задатки писателя и музыканта и стал бы, вероятно, большим художником, если бы не война... В повести есть запах моря, живые краски юга, портрет маленького черноморского городка Анапы, где маяк освещает море зеленым, красным и опять зеленым...

#### Рисунки Ю. Вечерского







## О МАЯКЕ, КАЛЕЙДОСКОПЕ И ГОРОДЕ АНАПЕ

Когда я был маленьким, папа купил мне калейдоскоп. Пальцы медленно крутят трубку, она пахнет клеем, а звезда из красно-зеленых ромбиков вдруг рассыпается и перестраивается в ярко-синюю и фиолетовую комбинацию такой сложной формы, что я уже и не помню. Сколько там было искорок и огня — словно море под солнцем... Но разве такая картинка последняя? Их там казалось бесконечное число. Дух захватывало. Хотелось подстеречь тот момент, то

неуловимое мгновение, когда вот-вот, еще полсекундочки — и дрогнет картинка, будто смялась, и... посыпалось! Похоже, мы, бывало, разбегались, играя в казаки-разбойники...

Анапу я увидел так.

Сначала мы шли с папой по темной улице и дул холодный ветер. Акации стояли голые как прутья веника и совсем мне не понравились, хотя столько рассказывали про эти деревья. Пока мы шли к высокому берегу, я зевал, спотыкался и ежился под ветром, который папа называл не ветром, а норд-остом. Звезд в тот вечер не было. Приехали мы машиной к дому, который я и рассмотреть не успел, и только разгрузились, как папа взял меня за воротник курточки и повернул в сторону моря,

— Слышишь?

— Примус,— сказал я.

— Сам ты примус,— обиженно сказал папа. И вздохнул.— Мы с Борей пойдем посмотрим маяк. А вы тут распаковывайтесь сами, мы скоро.

«Вы» — это были моя мама и одна знакомая бабушка, которая сначала называлась «хозяйка», а потом куда-то подевалась, сказала, что от мужчин ждать помощи нечего. Мама молча протянула шарф. Я замотал его вокруг шеи и пошел за папой. Он шагал широко и говорил:

— Из таких нелюбопытных детей обязательно вырастают скучняги и зануды. Ну, а теперь слышишь?

Теперь я действительно слышал шум моря и догадался, что про море и шла речь. Всю дорогу — и в поезде от Владикавказа, так раньше назывался город Орджоникидзе; и на пересадках, когда меня поили чаем на узлах; и на холодных сквозняках Краснодарского вокзала, где дуло от дверей, «как на Северном полюсе»; и в машине, когда она выделявала петли, спускаясь с горы и поднимаясь на гору, а эта чужая бабушка, которая ехала с нами «ликвидировать собственность», просила бога «забраты ии до сэбэ», — все это время я только и слышал от папы: «Потерпите, а вот когда мы приедем к синему, теплomu морю...», «А вот у теплого, ласкового моря...»

Но, во-первых, и в Сочи, откуда мы приехали во Владикавказ, море было не холодное, а я его видел. А во-вторых... И вот это теплое и ласковое и такое-сякое море что-то себе бурчало под нос и дуло холодным ветром, и на небе было черным-черно, а от меня хотели восторгов. И я сказал наивно:



— Слышу. У тебя сапоги скрипят.

Некоторое время мы шли молча. И вдруг я увидел чудо. До этого я, наверное, смотрел под ноги и потому не сразу заметил, что прямо перед нами стоит гигантская башня. Она чуть светлела на черном небе. За ней ревело море, уже вовсю, не стесняясь; а башня вдруг сверкнула ярким пламенем и обдала нас зеленым, сказочно-красивым светом; а потом это зеленое побежало по крышам домов, по деревьям, и мы остановились, и я схватил отца за руку и увидел край пропасти и кипящую зеленую воду моря, которая длинной змеей, перекручиваясь и выпуская пену, убегала, сколько глаз хватало, от берега. И потом ударил гром, и вода у берега вскинулась светло-зеленым веером, и в носу защемило от запаха моря — свежего, пронзительного, яростного запаха, которому я еще не знал сравнений!

...И вдруг стало темно и тихо, и башня повернула к нам свое огромное зеркало, сверкающее алмазными гранями стрекозиное глазище, и обдало жарким красным цветом, и побежало алое пламя по домам, деревьям, вспенило жгутом море, и опять ударил гром, и вскинулось море, еще выше, чем первый раз, и я на секунду увидел папино лицо...

— Ты плачешь? — сказал я удивленно. — Ты боишься? Лицо отца было сморщено, и по щекам текли струйки. Потом стало темно, и я услышал:

— Это морская вода.

И снова мир стал зеленым, темным, громово-красным...

По-моему, маяк похож на гигантский калейдоскоп. Так я тогда подумал. И потому, что про море и акации мне рассказывали сотни раз, а про маяк ни одного слова, наверное, поэтому маяк, а не море поразил меня на всю жизнь.

Я думаю теперь, что самое сильное переживание бывает тогда, когда ты не готов к нему.

Вот, например, война. Или: почему отец плакал тогда как маленький?

Может, и он не был готов к чему-то, может быть, не море хотел он мне показать в тот осенний вечер, а хотел как-то оправдать свое желание побыть одному. Ведь я был маленький, а маленькие не мешают взрослым думать про свою жизнь.

Но бывают в жизни и маленьких и больших какие-то особые, что ли, дни и минуты, которые врезаются на всю жизнь, как что-то очень важное, имеющее смысл такой, какой мы под это подставляем по своему настроению или по своему

спыту жизни. Я могу и пояснить. Зеленое, красное, зеленое — это сигнал анапского маяка, его шифр. Потом уже, гораздо позже, я узнал, что каждый маяк мигает своим сигналом, чередуя цвета, как морзянка свои тире и точки. Об этом написано в толстой книжке для моряков, которая называется «Лоции».

Цвета зеленый и красный ничем как будто и не отличаются от других, скажем, синего или желтого. Но мне кажется, на всю жизнь от того памятного вечера, когда я увидел маяк, у меня осталось чувство зеленого и красного как особенно волнующего чуда. Зеленой была трава, листва, иногда — море. Красным было пламя, флаги и праздники, иногда — море...

Еще позже, чем «Лоции», я прочитал книгу о живописи художника Делакруа. Он там пишет, что чистый цвет получается у художника при сопоставлении нескольких цветов. А еще позже кто-то сказал мне, что до Делакруа этот секрет знали русские иконописцы.

Чистый цвет — это правда о жизни.

И теперь, когда я думаю обо всем, что я пережил и как прожил свои сорок шесть лет, я понимаю, что жизнь похожа на большую-большую палитру, где много красок и каждая, наверное, нужна была, чтобы я научился видеть, понимать, чувствовать мир. Были дни, черные как ночь, серые, как ветки осенних акаций, зеленые, как детство, и красные, как война.

Мама рассказывала мне, что первые шаги я сделал сам. Была открыта дверь в сад. Я встал сначала на четвереньки, потом на ноги и пошел к светлому прямоугольнику из темной комнаты. Я шел на свет солнца...

Я спросил, какого цвета были у нас стены и что я мог видеть в проеме двери. Стены были темно-красные, ответила мама, а из комнаты я мог видеть кизилловые кусты и зелень орешника. Было лето.

...Зеленое, красное, зеленое — таким был мир моего раннего детства. И я вышел из него однажды навсегда.

И не вернуться назад. Ни в раннее детство, ни в позднее, ни в юность, ни даже в молодость... Ого, сколько позади! Собрать свои воспоминания бывает так же трудно, как по отдельным краскам понять, что такое нарисовано на картине.

А я попробую все-таки. Ну пусть не подряд, пусть сначала и не так гладко пойдет дело: ведь у меня неладно с памятью. Отбило ее на фронте. Контузия не такая чтобы



страшная. Начну вспоминать, сосредоточусь,— ох, как четко все вырисует память! А стоит чуть расслабиться — потерять нить, скажем, или устать,— и готово: сутками, бывало, не могу вспомнить, на чем я остановился. Но ладно. Что ж тут поделаешь, стоит начать... Тем более, что теперь уже все реже у меня с памятью заскоки. Вот у меня и на уроках так бывало. Теперь, правда, прошло. Я ведь забыл сказать, что я учитель истории. Первое время, придя в класс, я всегда спрашивал ребят:

— Так на чем же мы остановились?

И ребята считали, что это просто так я спрашиваю, а сам прекрасно знаю. А я и вправду не помнил. Потом я стал все записывать, закладочки делать и прочее. А то прямо беда. Хуже всего, что я — историк. Ведь что такое история? Наука о прочной памяти, правда? А если все забываешь: куда папиросы сунул, где указка лежит, кого я спросить должен неожиданно, чтоб он не хитрил—есть такие ловкачи, что спроси его сегодня, назавтра наверняка не выучит, если все время лоб трешь, чтобы вспомнить самое простое,— какая же гарантия, что вспомнишь, кто в Риме двенадцатым цезарем был или в каком году закончилась вторая Пуническая война?

— Так на чем мы остановились?

Вот именно: на чем? Почему я начал с маяка, про зеленое и про красное — хоть убейте, не вспомню...

Но это уже не от контузии. Просто все связно рассказать о себе трудно. Даже писателям. А я учитель, не писатель.

## ПРО СНЫ

Может, я забыл бы и этот сон, если бы не карточка, которая стоит у меня на столе. Сейчас темно, но я все равно вижу ее, даже если закрою глаза...

Саша — мой лучший друг. Он погиб под Сталинградом. И после его гибели остался дневник. Вот эта толстая серая папка, которая со мной, можно дотянуться. Долго вез комбат Никоненко мне груды листов, из которых большая часть безвозвратно потеряна, а то, что осталось, перепутано, отрывочно... В дневнике была и карточка.

Я читал и перечитывал дневник. Вот и сейчас взял его с собою. С вечера я снова думал о дневнике.

...А сон повторялся годами. Когда, где было его начало? Наверное, там, тогда, в госпитале. Потом, через два десятилетия, некоторые детали стерлись; все реже, все случайнее вспоминался он ночами, и только сейчас я проснулся с тем состоянием сердцебиения и остротой чувства, которые заставили меня снова пережить этот сон как явь.

Сначала было море — без берегов. Потому что нельзя было назвать берегом ту часть суши, на которой находился я. Это был песчаный островок, его на глазах заливала вода со всех сторон. Волны шли большие, океанские, и непонятно было, как они не накрывали меня. Прямо передо мной волны уменьшались, как будто сворачивались, и всегда у самых носков сапог откатывались назад. Но каждая новая волна была все выше, и я судорожно старался отбежать назад, хотя понимал, что сзади также уменьшается, тает на глазах полоска песка. Небо было страшное, как на рисунках Дорэ из Библии, шум и гул стояли такие, какие никогда мне не доводилось слышать наяву. Просыпаясь, я всегда сравнивал видимое во сне с картиной всемирного потопа, такой, какой ее рисовало воображение людей... Главное — пока хватало зрения, было одно море. И за ним ничего не угадывалось. Какое-то чувство подсказывало, что суши на земле уже не оставалось. И это, а не то, что вода зальет островок, было страшнее всего. Но так сон начинался. Это начало, как мне кажется, шло из детства, из темных глубин подсознания, из хаоса. Продолжение сна подключилось к нему позднее.

Когда волна — третья, седьмая, не знаю, ни разу не удалось мне зафиксировать это сознанием, хотя сон был четок как галлюцинация, — готова была накрыть меня и я знал, что на этот раз она не свернется, я страшным усилием воли взмывал в воздух и летел над разбушевавшейся стихией. Полет этот был едва ли не самой страшной частью сна. Я то падал в океан, потому что изумрудная стена с белыми прожилками, казавшаяся монолитом, стремительно надвигалась на меня, то перед самой пучиной, непонятно как, оказывался высоко, и море рокотало далеко внизу, и это было почему-то еще страшнее, так как я уже тогда ожидал, что начну падать снова. Это не было похоже на карусель, нет! Момент взлета был неощутим, попросту его не было, хотя такое невозможно представить. Было только многократное падение, каждый раз доводящее до безумно-реального ощущения свистящего, увеличивающегося в скорости падения, которое напугало нервы так, что, когда я наконец просыпался, мне



долго не удавалось отдышаться — все тело болело, руки дрожали, сердце колотилось с переборами...

Так было и сейчас. Я нажал кнопку настольной лампы, она стоит рядом, на тумбочке, подождал, пока свет отгонит последние следы сна — продолжающийся гул моря (или это шумела кровь в голове?), пока уймется неприятная дрожь в руках. Потом я глубоко вздохнул несколько раз и встал. Выпил воды, погасил свет и, прежде чем лечь, отодвинув штору, постоял у окна. Ночь была лунная, тихая. Да, это — море. Шумело море — холодное, Балтийское. Большие сосны отбрасывали резкие тени. Море было за лесом, за дюнами, рукой подать. В одном домике горело оконце. Я открыл форточку, и свежий воздух потянулся в комнату тугой струей.

Лежа в постели, я долго следил за полосой света на потолке, потом она погасла. Видимо, луна скрылась в туче. Кто-то прошлепал по коридору, и снова стало тихо.

— Бригитта, — сказала сонным голосом хозяйка и еще что-то по-латышски.

И мне сразу стало покойно и легко на душе. Настоящее постепенно возвращалось ко мне. Я улыбался своим мыслям.

Вчера был праздник Лиго, старый латышский праздник, вроде Ивана Купалы. Всю ночь горели костры на песчаном берегу и слышались песни. Днем красочное шествие протянулось от Дубулты, через Майори, где я остановился суток на трое... Процессия шла в Дзинтари. Девушки в веночках, дети в маскарадных костюмах, впереди ехали герольды в средневековых костюмах и трубили, созывая на праздник. За ними — фаэтоны, пожарные повозки с краснолицыми пожарниками и машины старых марок. И чего только не было! Толпы веселых курортников стояли вдоль тротуаров. Самолеты сбрасывали цветные листовки, стоял гул, хохот, а кто-то кричал, что скоро будет выходить из воды красавица Дайле... Все побежали на пляж. Поспешил и я. В толпе играл оркестр. Все взгляды были обращены в сторону моря. И вот показались яхты — одна, другая, цветные паруса надуты ветром. Почти детское волнение охватило меня. Я тоже ждал чуда. Десятки добровольцев, бронзовотелые юноши, бросились в холодную воду и поплыли навстречу яхтам. Но постепенно все возвращались ни с чем. Толпа гудела, все спрашивали, что случилось, но многие смеялись. Старый латыш объяснил мне, что так надо.

— Не всякому дано встретить Дайле... Только самый достойный... Каждый год она выходит на берег. Для счастья...

Но вот в море послышался гул мотора, и зеленая плоская амфибия, рассекая воду залива, пошла к молу. Толпа бросилась к тому месту, где уже причаливал огромный нарядный катер. Крики восторга, оркестр, цветные шары в голубом небе. Вот и я увидел в расступившемся коридоре людских тел прекрасную Дайле. Она была в длинном, немного замоченном платье, белокурая, с распущенными по плечам роскошными волосами русалки. Дайле немного поморщилась, пробуя ножкой воду, но потом решительно шагнула в море, пошла по мелководью навстречу ликующим людям. Ей закричали «ура!». Она улыбалась. По обе ее стороны шли прекрасные юноши. Она вышла на сушу, и тут я понял, что это Вия Артмане, популярная киноактриса. Я выбрался из толпы и пошел домой.

Я очень хотел в Москву. При одном воспоминании о доме становилось радостно, хотелось петь, дурачиться... Давно этого не было. Ну что ж! Хорошо, что хоть сейчас возвращалась ко мне буйная радость жизни!

В Риге я был на защите диссертации моего друга. Он уговорил меня поехать в Майори посмотреть Лиго. Но его вызвали телеграммой в Таллин на какую-то там сессию, и я остался один в милom, гостеприимном домике его однокашницы и ее дочери Бригитты.

Но эта ночь только началась. Сон нагнал меня где-то в полночь. Боже, как это умудряется наше подспудное «я» за какие-нибудь два часа накрутить такую ленту! Да еще из давнего-давнего прошлого.

Как это нередко бывало, уже через несколько минут сон отошел куда-то в глубь сознания и осталось только любопытство: я лежал и пытался вспомнить какую-то новую деталь сна, какое-то звено, ранее не замеченное мной... Да, да... Когда я летел (я так и подумал — «летел»), внизу, среди волн, внезапно обнажилась длинная полоска суши, как всплывающая подводная лодка, и тут же вокруг нее образовался тонкий витой шнур белой пены... И сразу же, по какой-то странной и неумолимой логике, обнажилась четко работающая ночная мысль, и сквозь туманные очертания ставшего воспоминанием сна проступило другое воспоминание...

Как ночью обнажалась мысль!  
Безукоризненно, как стон,  
Как белой пеной с трех сторон  
Внезапно окаймленный мыс!



Как хорошо наложилось это сравнение поэта на четкий рисунок моего сна. И как бесспорно само уподобление отчетливости ночных мыслей образу окаймленного пеной мыса в чистом морском воздухе!

Эти стихи любил Саша...

Вот уже двадцать восемь лет я живу отдельной жизнью от жизни моего друга. От смерти моего друга. И все, что осталось от него, — это груда мятых листов, дневник юноши. Он прятал тетрадь ото всех, даже от меня: он был очень застенчив. Но я должен рассказать об этой тетради, потому что он был лучшим из нас, а надо, чтобы люди знали о тех, кто в восемнадцать, а то и в семнадцать лет стали солдатами; у кого не было юности, а было мужество; о тех, кого мало осталось, но кто непонятно как, а угадывает человека своего поколения — по пеплу в глазах, даже когда глаза смеются, по седине висков и по нерастроченным чувствам, которые всегда бунтуют.

Вот уже двадцать восемь лет один из нас упал лицом в песок, подогнув ногу, отбросив автомат... И так же, как тогда, двадцать восемь лет назад, степной ветер свистит по калмыцки, шевелит его волосы, заносит сухим песком полы шинели.

Заносит годами, но не может занести.

## ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Говорят: «песок забвения»...

Да, наконец-то я вспомнил, что хотел сказать о связи моего сна с фотокарточкой, которая стоит на столе. Песок... Песок рыжего цвета был в стеклянной трубочке часов. Потому они и назывались «песочные». Вода в ванне была чистая, горячая. Я стоял в кабине, отделанной белыми кафельными плитками, и ждал, пока выйдет санитарка Маша. А она держала в правой руке стопочку с оранжевым порошком, а левой пробовала воду в ванне. Потом высыпала порошок, энергично размешала воду и вышла, задержав полиэтиленовую занавеску на больших кольцах. Вода в ванне стала зеленой, запахло хвоей. Я лег в ванну, ощущая блаженство тепла, покоя. За стеной, журча, стекала вода — кто-то вынул затычку. В соседней кабине послышалось басовитое покашливание. Потом я услышал голос Маши:

«Песочек пересыпался? Рановато вы». — «Пересыпался песочек», — добродушно отозвался бас. Я посмотрел на стену и увидел, как быстро, поспешно, хотя и тоненькой струйкой, сбегает песок через узкое осиное горлышко песочных часов.

И у меня перехватило горло. Это было не так давно, во время так называемой процедуры хвойных ванн в санатории. Я смотрел на бегущую струйку, дымящуюся, тоненькую струйку песка, а думал о непрочности жизни... И о Саше, который лежал на песке холодный, недвижимый. И мне почудилось, что и моя жизнь постепенно утекает тоненькой струйкой песочных часов. Я подумал, что не замечаю времени, а оно уходит вниз. И никто не возьмет мою жизнь и не повернет ее так, чтобы песок снова собрался в верхней части — покойный, рыжий, только притаившийся для движения.

И вот сейчас, лежа с открытыми глазами среди мерцающей тишины, я понял, что чувство уходящего времени, пережитое мною тогда, было прямо связано с получением Сашиного дневника. Его привезли мне в то утро, и он подспудно уже владел моим подсознанием. И мой сон был тоже продолжением той же ленты, которая все продолжала раскручиваться назад...

И прямо от песчаного мыса, окаймленного пеной, побегала тоненькая нить воспоминаний к моему последнему воздушному бою.

Я смотрел только на него, на его длинное осиное тело, помеченное черным тупым крестом с белой обводкой. В моем прицеле оно качалось сверху вниз и обратно. Я шел на сближение с «мессершмиттом», зная, что, если не собою его сейчас, с одного захода, значит, наша игра будет сыграна вничью. Ничто не сможет изменить результата. У него не было патронов, он расстрелял их. Теперь он надеялся на запас скорости. Здесь у него было преимущество, и он знал это. Он знал также — я чувствовал это по его ходам в последние минуты, — что горячее у меня на дне бака. И он заманивал меня в открытое море, которое дважды, когда я пытался зайти на немца в пике, надвигалось на меня зеленой крутой стеной с белыми прожилками. Даже в азарте боя я успел подумать, что оно похоже на камень, название которого я почему-то не смог вспомнить в ту первую долю

секунды... Я шел на немца сейчас под прямым углом на равной с ним высоте, и ничто, никакое чудо не могло спасти его: я точно рассчитал скорость сближения и угол атаки, если только он не успеет нырнуть вниз или вверх до того, как я нажму на гашетку. И если я успею после короткой, последней очереди проскочить мимо «мессера», а не влеплюсь всей массой своего «ЯКа» в рыжий осиный бок с черным тупым крестом. Крест надвигался, вырастал, и наконец я нажал на гашетку. Палец онемел от усилия, с которым я продолжал давить на нее, хотя пулемет уже заглох, дело было сделано: я успел взмыть над вспыхнувшим и блеснувшим на солнце колпаком кабины — я прошел ее, перечеркнув по диагонали, — и теперь шел на крутой разворот, чтобы последний раз убедиться, что «мессер» сбит, и постараться дотянуть до берега. Если минуту назад главным было — «достать немца», теперь главным было — достичь песчаной косы, со всех сторон окаймленной белою пеной... На вираже я успел заметить, что дымный факел «мессера» потянулся туда же, только намного ниже меня. Я почувствовал, мой мотор стал давать перебои. Как умирающий человек, он судорожно ловил воздух, содрогаясь всем телом, зная, что борьба напрасна, но не в силах покориться неизбежному исходу. Я терял высоту — главное, что могло спасти меня. Море надвигалось снизу, изумрудно-темное с белыми прожилками, местами почти черное, как оно и называлось... Я опять подумал как-то механически, подводным ходом мысли, что забыл название похожего камня, очень простое, которое странно было забыть... До косы оставалось с полкилометра, когда внизу взметнулся высокий столб огня — догорал самолет... И почти в то же мгновение мой мотор замолк. Сильный боковой ветер мешал маневру, теперь я впервые почувствовал, что спланировать на песчаную косу, где чернели остатки «мессера», почти невозможно. Страшная усталость овладела мной и страшное безразличие. Самолет накренило, волны и пена были видны отчетливо; вода, теперь нестерпимо синяя, почти фиолетовая, надвигалась на меня. Я зажмурился...

Когда я пришел в сознание, было темно. Я, скорчившись, сидел в кресле, сильно накренившись. Сначала мне показалось, что идет сильный дождь и я промок. Следом сразу же пришла мысль, что колпак кабины закрыт и я не мог про-

мокнуть. Но стоило мне попытаться привстать, чтобы, потянувшись руками вверх, приподнять и отодвинуть колпак, я вскрикнул от резкой боли в ноге и снова потерял сознание. Придя в себя, я ощупал ногу, залитую кровью, и, осторожно отодвинув колпак, осмотрелся. Плеск черной воды вокруг, круто задранное вверх левое крыло с едва различимой в темноте звездой, белая пена, с шипеньем отбегавшая от недалекого берега, где темной бесформенной грудой лежало то, что когда-то было самолетом врага, запах жженого железа вперемешку с соленым бодрящим запахом моря — все это объяснило мне мое положение: я упал недалеко от берега, немного не дотянув до косы. Кабина снаружи была мокрой, я понял, что только отлив спас меня. Море шумело все ровнее и тише. Много воли понадобилось мне, чтобы пересилить боль, попытаться, перевалившись через край кабины, проползти по правой плоскости по горло в воде навстречу берегу. Вода, когда я нащупал песчаное дно, доходила мне до подбородка, если стоять на одной ноге, опираясь на прут антенны, служившей мне неверной палкой: сталь гнулась, и я трижды, пока добрался до берега, опускался на дно, чтобы утишить боль... На песчаном берегу я лежал и снова заковылял, волоча правую ногу и опираясь теперь на корягу, выброшенную морем.

Там, где мыс переходил в холмистую гряду, я стал различать во тьме какое-то строение. Оттуда послышался лай собаки, почуявшей меня. Лаяла она с подвывом. Низкие тучи все так же проносились по небу, море шумело. Мне стало совсем плохо, я чувствовал, что теряю сознание, меня тошнило. Боль в ноге, на время онемевшей в воде, была нестерпимой от соли. Вначале я не понял, что ранен и в голову; теперь болели все порезы на лице и на голове, и порой казалось, что они болят даже сильнее, чем нога. Но я уже бывал ранен и знал, что это плохая примета — нога сломана, и не в одном месте, она волоклась как что-то липкое, мягкое, чужое. Казалось, что, если бы ее отцепить, оставить на песке, боль сразу же прошла бы, идти стало бы легче.

Собака рвалась с цепи. Я слышал, как звенит цепь, как скрежещет кольцо на проволоке. Но идти не мог. Лег на бок, вытянув беспомощно ногу, и стал ждать, пока меня найдут. Песок щекотал щеку, холодный и шелковистый. Собака лаяла все тише, я снова впал в беспамятство.



...Сначала мне снилась мама. Она гладила меня по щеке и говорила: «Боже мой, такой большой мальчик, и боится собаки...» Она качала головой укоризненно, и мне, как всегда в детстве, становилось от этого стыдно; что-то стеснилось в груди, защекотало в носу, и было почему-то жалко себя — страх, испытанный от ощущения своей беспомощности и незащищенности, не проходил. Мама продолжала гладить меня по щеке и по носу, было щекотно и странно; и я подумал во сне, что причиной этой странности было то, что мама никогда не ласкала меня, когда была недовольна мной. И вообще она не любила «лизаться», как другие матери. Я очень любил ее. В ней было все — и море, и небо, и тепло. А разве море, небо, солнце только ласкают? Нет, они могут хмуриться, гневаться, жечь. Но они остаются морем, небом и солнцем. И никто не может заменить их. Я знал это давно, но сейчас, во сне, мне было не только щекотно от прикосновений маминых пальцев — мне казалось, что именно они спасут меня, эти тихие касания, похожие на дуновение ветра, когда лежишь на песке, разомлев от моря и солнца, щекою на песке, а он струится под ладонью, покалывает тоненькими иголками в шею, щекочет щеку, поднимаясь как бы на свои песчинные цыпочки...

Собака была черная, с оскаленными клыками, один из которых, справа сверху, как бы отделялся от розово-черной десны, с нее стекала слюна. Мама куда-то исчезла, я только слышал ее голос, далекий и невнятный, заглушаемый лаем черной собаки. А та приближалась, голова ее с оскаленной пастью росла, и вдруг из пасти метнулся тугой сноп огня, и я услышал пулеметную очередь: дуду-ду-ду-дудуду... «Собака немецкая... немецкая овчарка...» — сказал кто-то во мне, но одновременно и вне меня, потому что слова отдавались, словно эхо: «...арка, арка, арка...» Собака подошла ко мне, а я лежал и не мог встать, как ни напрягался, — тело было ватным, бессильным. Теперь я увидел, что собака была очень большая. Она потопталась около меня и вдруг села на мою ногу. Я закричал и проснулся.

Боль в правой ноге пульсировала уже в бедре, глухо отдаваясь в поясницу. Солнце окрасило края дюн; рыбацья хижина в зарослях олив была освещена его лучами. Собака — худая как скелет — совершенно осипла от лая, она едва слышно свистела и подвывала. Только теперь я понял, что никого в хижине не было, собаку забыли отвязать, и она погибала, как и я, на пустынном берегу.

Я оглянулся на самолет: он был на две трети под водой, снаружи торчала лишь левая плоскость и самая верхушка винта — вода прибывала.

На мысу чернела бесформенная груда металла, покоренного и развороченного при ударе.

Море было розоватым. Дальше от берега на нем прочерчивались белые прожилки, которые иногда вспыхивали под лучами поднимающегося солнца... Мрамор, камень этот называется мрамор...

Я чувствовал, что у меня начинается жар. Руки почти не подчинялись мне, но я пополз, закусив губы, волоча ногу, распухшую за ночь. Она продолжала кровоточить. След бурый, местами расплывающийся (там, где я останавливался отдохнуть), тянулся за мной от самой воды.

Когда до собаки оставалось уже совсем немного, я обессилел. Дворняга с черно-белой шерстью, вся в репьях и песке, прилипшем к ее спутанной мохнатой морде, ползла ко мне навстречу, повизгивая и пытаясь продвинуться хоть на сантиметр, — веревка была натянута как струна, проволока, протянутая от дерева к хижине, провисла под кольцом, собака хрипела.

В это время я услышал звук мотора «юнкерса», за ним — второго. Третий был не слышен пока, но я знал — они летят звеньями. Это было их время. Значит, около пяти. Да, в небе, чистом и безоблачном, со стороны моря заходили на бомбежку три самолета. Собака тоже почуяла их. Она перестала сучить передними лапами и легла, опустив морду. Только шерсть ее встала на костлявом хребте и морда оскалилась. Вдруг она резко перевернулась и стала кусать цепь, которая соединяла ошейник с веревкой. Она пыталась перегрызть железо, хрипя и скуля, оставляя кровавую пену, судорожно дергаясь все более часто, по мере того как нарастал рокот и гул «юнкерсов».

Начавшийся бой наших перехватчиков я только слышал. Голова была тяжелой, шея бессильной, я лежал, уткнувшись лицом в какую-то фанеру, брошенную на песке, недалеко от рыбацкой хижины. Пахло вяленой рыбой, солью. Наверно, пролился рассол, потому что запах шел от песка, на котором я лежал.

Солнце стояло уже высоко, когда меня подобрали санитары. Они рассказали мне потом, что с воздуха были замечены разбитые самолеты и отдельно тело летчика. Я спросил про собаку.

— Странная история,— сказал санитар,— рядом с вами лежала мертвая собака. Голова ее была окровавлена, а цепочка разорвана, я решил, что вы убили ее, что она бешеная...

Неужели, подумал я, сила жизни так велика, что животное перегрызло цепочку? Но этого не может быть... И почему она была в крови? Мне показалось бессмысленным и чудовищным предположение, что собака перегрызла себе жилы... Но если она обезумела от жары, голода и одиночества, что мешало ей растерзать беспомощное тело человека?

Мы ехали вдоль моря. Под колесами автофургона был песок, и казалось, что я лечу на самолете, ровно, на одной высоте. Так же ровно, на одной высоте, звенело в голове и тупо дергало ногу, будто кто-то пробовал через равные промежутки оторвать ее, передыхал и снова дергал...

— Где это мы? — спросил я. — У Тамани?

— Нет,— отвечал санитар.— Справа — Анапа.

— Анапа! — закричал я. — Куда же вы меня везете? Подождите!

## ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

— Сколько вы сказали, младший лейтенант?

— Деятнадцать,— ответил я седому грузному полковнику медицинской службы.— В прошлом году я окончил школу... танцевал на выпускном вечере...

Я сказал «танцевал» и сразу почувствовал острую боль, пронзившую все мое существо. Мне захотелось кричать, выть, грызть железо, как та дворняга на берегу моря, только бы все то, что *было*, уже *было* — оказалось одним из снов или бредом, который может закончиться. Несколько раз за эти сутки, когда *это* стало свершившимся фактом, я испытывал прилив нестерпимого горя, который, казалось мне, способен разорвать мое сердце. Но тогда я еще не знал, как молодо и сильно мое сердце и сколько еще ждет меня впереди таких дней и ночей, когда, только сжав зубы и считая про себя: «Сто один, сто два, сто три, сто четыре...» — можно остудить кровь в жилах, заставить себя забыться... Я смотрел на простыню, которой было покрыто мое тело. На том месте, где когда-то была правая нога, как бы не оставляя никаких иллюзий о случившемся, лежала... коробка с шахматами.

Да, я играл в шахматы и даже выиграл партию у капитана авиации, у которого сделали *это* же неделю назад. Койка его стояла рядом, на ширину табурета. Капитану казалось, что он отвлекает меня, а я просто ничего не чувствовал, будто все это случилось не со мной. Капитан говорил мне, что я должен ощущать бывшую ногу как живую. Но я ничего не чувствовал, вернее, не хотел чувствовать. Я и про себя говорил — «это», горько усмехаясь; ясно было, что я так обманываю себя, пытаюсь обмануть, заставить пока не называть то, что произошло, своим именем.

Но однажды ночью, проснувшись среди сонного бормотания, запаха йодоформа и сладковатого, другого запаха, который переносится труднее всего, — запаха ран, не заглушаемого никакими лекарствами, я определенно почувствовал отрезанную ногу и каждый палец на ней болел отдельной болью. И тогда я холодно и трезво заставил себя сказать вслух: «У меня отрезали ногу... у меня никогда не будет ноги...» Я говорил это шепотом, но так отчетливо, старательно, как будто диктовал детям: «Ма-ма мы-ла ра-мы... И Ро-ма мыл ра-мы...» Странно, очень страшно и в то же время легко стало мне. Как будто я перешагнул глубокую пропасть и дальше была ровная прямая дорога.

Госпиталь был полевой. Он размещался в станице. Потом его эвакуировали в Краснодар, а оттуда долго везли под бомбежками немцев в Кавказскую, затем, не выгружая из вагонов, нас повезли через Гудермес на Баку. По дороге, где-то под Моздоком, одинокий «хейнкель», просочившийся к линии железной дороги, сбросил бомбы и повредил полотно. Был жаркий летний день. Состав стоял в голой степи уже часа три, вагоны накалились под солнцем. Все, кто мог передвигаться, вышли в тамбуры, где сквознячок создавал некоторую иллюзию прохлады, а те, кто посмелее, с горем пополам выбрались в тень вагонов и вдыхали смешанный запах нагретых рельсов, пыли и полыни. Машинист не переставая гудел, пока «хейнкель» кружился над нами, будто пугал его. Видимо, у немца больше не было бомб, пулеметы в ход не пускал — поленился перейти на бреющий полет.

Постояв в тесном тамбуре, я тоже попытался, орудая костылями, выбраться из вагона. Стоявший у ступенек пульмана старшина из санитарного взвода, огромный детина с засученными рукавами гимнастерки, видя, как нерешительно



я топтался на верхней ступеньке, шагнул ко мне и снял меня как ребенка, осторожно опустив на землю. Я смутился. Дедтина представился: «Старшина Бойко». Я предложил ему закурить. По заведенной привычке старшина кивнул на мою культию: «Под Керчью?» — «Под Анапой», — ответил я. Старшина неожиданно оживился. Оказалось, что он тоже из тех краев, не из самого города, правда, а из Натухаевской, одной из ближних станиц. Слово за слово, мы разговорились, и оказалось, что мы почти что даже знакомы: его отец ходил под Керчь с дивизией генерал-майора Ивана Книги. Когда меня подбили в первый раз и я выбросился с парашютом, я два дня провел в рядах отбивавшихся в пешем строю казаков. Там я и познакомился с дюжим сотником Бойко, как оказалось, батьком этого старшины. Какова судьба сотника, не знали ни он, ни я. Но я знал нечто иное.

До сих пор вспоминаю то раннее утро, когда я увидел розовое море... Да, море было розовым. Я вышел из палатки раньше всех и остановился как вкопанный. До самой кромки горизонта, где в тумане угадывался крымский берег, вода розовела и, по мере того как всходило солнце, становилась все краснее... Когда я спустился по песчаному откосу, вода была уже алой. Приливом прибывало к берегу красные башлыки... Сколько же их было?

Всю ночь земля содрогалась от взрывов, небо прочерчивали прожекторы. Все корабли, барки, лодки, плоты, катера были переполнены: наш десант на Крым был сброшен в море. С того дня аэродром перебазировали, а бои в воздухе переместились на Кавказское направление.

Я сказал старшине, что видел сотника в полном здравии, при трех орденах. Он был горд батькой своим и, размахивая могучими руками, божился мне, что сбежит из медсанбата. Загудел паровоз, и раненые суетливо начали карабкаться в вагоны. Старшина так же ловко вскинул меня наверх и вскочил уже на ходу. Поезд набирал скорость. Мы курили в тамбуре и молчали. Степи проплывали чужие, желто-бурые, без травы, хотя стоял июль.

На вторые сутки показалось море. Каспий был серый, скучный. Донимала жара.

Мы расстались с Бойко в Баку. Он обнял меня на прощание и побожился, что еще один рейс, и он удерет на фронт.

Я поковылял по пыльным, казавшимся бесконечными, улицам Баку. Дым висел над нефтепромыслами, над городом.

Начиналась новая жизнь — инвалида.

На главпочтамте мне предложили подойти к окошку без очереди, и я, почему-то покраснев, торопливо получил свои письма. Они были желтые, с переадресовками — старые. В одном из них тетя Лиза, мамина сестра, сообщала, что бомба попала в наш дом; что, к счастью, мама в это время ходила за хлебом, а отец был на заводе; что началась эвакуация; что отец мой, директор винного завода, велел оставшиеся чаны пробить, и вино лилось трое суток в море по улицам Анапы; что собаки были пьяные; что все почти уехали, а она, тетя, останется в городе, потому что на руках ее свекровь, которая больна и не перенесет дороги. Отец и мать где-то в Казахстане, кажется в Джамбуле. Писем нет, и она волнуется. Второе письмо было от Башьяна, командира звена, в котором я летал. Письмо было толстое, и, разорвав конверт, я обнаружил два маленьких голубоватых конверта со знакомым острым почерком... Я почувствовал сильное волнение и не стал читать письма в голубоватых конвертах, а сунул их в карман гимнастерки.

У нее были светлые волосы и серые смелые глаза. Она часто щурилась и улыбалась иронически. Она была спортсменка и плавала так далеко, что мне становилось страшно. Фигура у Лены была скорее мальчишеская: широкие плечи, узкий таз, сильные руки, покрытые до локтей рыжеватым пушком, крепкие ноги. Вся она была какая-то подтянутая и твердая — одни мышцы под ситцевым, всегда выгоревшим сарафаном, прямая постановка гордой головы, твердая стремительная походка. Стрижка — короткая, выше лба перетянута лентой, черной или серой. Она была дьявольски умна и проста. Лена знала, не могла не знать, что мы оба, Саша и я, влюблены в нее как олухи. Но она так ловко вела себя в этой сложной ситуации, что я до сих пор удивляюсь, как это ей удавалось. И как мы оба несколько лет, бывая вместе, ни разу не воспользовались тысячу раз представлявшейся нам возможностью для объяснения в любви. Мы были рыцарями без страха и упрека. Ни словом не перемолвись по этому поводу, мы появлялись у ее калитки, заросшей кустами сирени, почти в одно время и, будто удивившись совпадению, одновременно входили в заветный садик, откуда уже за полквартала доносились запахи белых лилий и табака.

— Ну, я пошел, — говорил обычно кто-нибудь из нас ча-

сов около 10 вечера, когда Ленина мама, пышнотелая художница-полька, подавляя зевоту, спрашивала дочь, будить ли ее завтра, или она сама встанет.

Потом Лена провожала нас до калитки и хлопала с размаху по заранее подставленным нашим ладоням. Иногда ей не нравился звук, и тогда она требовала «перебить». Натянута смеясь, каждый из нас старался хоть на долю секунды дольше задержать в руке ее крепкую сухую ладонь, жестковатую от весел.

Отец ее был генералом инженерной службы, профессором, человеком добрым, всецело поглощенным наукой. Он купил дачу в Анапе, и каждое лето они всей семьей приезжали сюда.

Командовала в семье его жена Алиция Станиславовна, человек общительный, нервный и экспансивный. Она не разделяла спортивных причуд своей упрямой дочери и любила только наши вечера, когда все собирались на широкой веранде за столом, покрытым вязаной скатертью. Алиция Станиславовна поила нас чаем из самовара, раскладывала пасьянс или писала маслом портреты. Садовник, он же сосед-рыбак Гриша Близнюк, получался у нее синим и узким демоном с фиолетовыми глазами искусителя. Конечности Гриши казались нам на полотне склеенными из детского деревянного конструктора, а синяя роба с блестящими при свете заходящего солнца складками — плащом тореадора.

Но мы, разумеется, молчали, взволнованно глотая слюну, когда нам милостиво разрешалось взглянуть на этюдник, обычно занавешенный цыганской шалью в углу веранды. Сам Гриша, удостоенный высокой чести быть запечатленным на полотне, отнесся к своему изображению без должного пиетета. Он почесал в затылке, взлохматил свою спутанную черно-седую шевелюру и сплюнул аккуратно за перила веранды. Гриша ничего не сказал, но ушел своей валкой походочкой быстрее обычного, и мы все сделали вывод, что он обиделся.

Алиция Станиславовна плакала, шмыгая носом в комнате, за пестрой занавеской, а Лена, пожав плечами, что означало примерно «мне бы ваши заботы», предложила что-то из ряда вон выходящее — кажется, уговорить Гришу взять нас на ночной лов волокушей,

Все это живо встало перед моими глазами, когда я разорвал первый из голубоватых конвертов со штемпелем «Куйбышев».

«Милый Борис!» Сердце колотилось. Я осмотрелся по сторонам, боясь читать дальше. Я сидел в пыльном сквере. Высокие и сухие тополя шумели, как паруса фрегата, на котором в детстве мы с Сашей видели себя недосыгаемо далеко от берегов отчизны дальней. Какие-то люди шли по своим делам, пригибаясь под сильными порывами сухого пыльного ветра. «Не знаю, не разминется ли снова с тобой мое письмо...» Мы расстались с ней, когда я получил повестку в военкомат: мое заявление сработало, меня брали в училище. Помню, как я побежал к Саше с этой повесткой — ведь мы вместе подали заявления. Он жил, как и я, у моря, недалеко от маяка, на так называемом «высоком берегу»... «Кажется, мы не виделись уже сто лет...» Да, я бежал к нему, а думал о ней. Я догадывался, что Саша не получил такой повестки. Он старательно обманывал врачей, напрягал глаза, горячо объяснялся с ними, когда ему терпеливо втолковывали, что зрение летчика должно быть безукоризненным... «Я помню твои глаза, когда мы прощались... Милый, милый, ты не мог меня обмануть. Теперь мне жаль, что я была насмешлива и жестока с тобой. Но если б ты знал, чего это мне стоило!» Так поздно узнать это... На минуту мне стало все безразлично. Я опустил руку с письмом на колено, за которым резко обрывалась нога, далеко не доходя до земли. Боль в душе была так остра, обида на себя так велика, что мне уже не хотелось ничего знать. Постепенно я заставил себя спросить: в чем же была эта обида? Никто ни в чем не виноват, если бы не война... «Саша потом приходил уже без тебя. Он стал мне еще более дорог, потому... потому, что я сделала выбор давно, а теперь мне было жаль его. Ты понимаешь? Он был рядом, я знала, что теперь мы будем говорить только о тебе и он не сможет говорить ни о чем ином. И так и было. Он стал тихим и понял все. А мне не пришлось ничего объяснять». Я вспомнил последние минуты: как я все-таки впервые, один повернул к ее дому, зная, что Саши там не может быть в это время, кусая губы от стыда и уговаривая себя, что ведь он наверняка остается, а я последний раз вижу ее. У калитки я задержался и на мгновение поколебался: входить ли? Но она уже увидела меня. Лена была в белом пла-



тве. Она подняла руку и, слегка склонив голову набок, как она делала, когда хотела скрыть смущение, пошла к калитке. Подойдя, она посмотрела на меня пристально и нахмурившись. Она догадалась, что я пришел прощаться. Она знала о том, что мы с Сашей просились добровольцами.

Когда Лена открывала калитку, щеки ее пылали. Она как обычно сказала свое: «Входите, сеньор, графиня в саду...» — но глаза ее тревожно блеснули. Впервые я видел ее волнение, которое она не могла скрыть. Я сделал шаг, но она, продолжая тревожно и вопросительно смотреть исподлобья, не отошла в сторону. Тогда она ждала, что я обниму ее, так как она уже знала, зачем я пришел так рано и почему я один.

Она стояла рядом и смотрела испуганно и растерянno, щеки ее горели, а руки были опущены. Секунду длилось это состояние, может быть еще меньше.

Но раздался голос Алиции Станиславовны, звавшей Лену, и она совлала с собой и повела меня по дорожке, сильнее обычного размахивая рукой и обивая кончиками пальцев листья с кустов отцветшей сирени.

«Писем от тебя нет. Не знаю, что и думать. Временами я просто не нахожу себе места. Теперь я знаю, что не могу без тебя. И мне совсем не стыдно писать это. Борис, где ты? Саша писал, что ты воюешь на Кавказе и что номер твоей полевой почты изменился, но с тех пор замолчал и он. Что это может значить? Последние два письма, на всякий случай, я посылаю по старому адресу. В одном из них, адресованном командиру части, я спрашиваю, где искать тебя. Прости. Но сердце подсказывает мне: что-то случилось...» Когда я уходил, она крепко пожала руку и толкнула меня в плечо, чтобы я уходил, улыбаясь смущенно. Тогда я думал, что она каменная. Но, повернувшись и сделав шаг, я вдруг почувствовал, как быстро она подалась вперед и ощутил поцелуй на шее... Я ошеломенел, и, когда обернулся, она уже убегала по дорожке. Я шел домой, боясь пошевелить шеей, неестественно вытянув ее, и часто спотыкался... «Почему замолчали вы оба? Одновременно. Я работаю в госпитале. Каждый день хожу на почту. Больше ничего не могу написать. Где ты?...»

Второе письмо было адресовано командиру части. В нем Лена писала о том, что переписка со мной неожиданно прервалась, и просила сообщить ей, что со мной. Башьян сделал на письме следующую приписку: «Ты — скотина. Что мне

отвечать? Не могу же я отмолчаться. Срочно пиши. Твой Левон».

Я задумался. Ветер переменялся и дул с моря. Желтые крупные листья с платанов приподымались на дорожке и шевелились. Кроме меня, никого в сквере не было. В море ходили белесые гребешки. В стороне порта серое небо было перечеркнуто множеством кранов, мачт. Это походило на паутину. Оттуда доносился стук, скрежет, гудки и свистки. Маленький толстобокий бот, переваливаясь, шел вдоль берега.

Она играла на рояле. Рояль был маленький, поцарапанный, но «настоящий Шредер», как любила повторять Алиция Станиславовна. Тогда я не очень любил музыку. Мне почему-то всегда хотелось спать, когда долго играли на рояле. Но мне нравилось смотреть на Лену, когда она играла, потому что она не отрывала глаз от нот и я не рисковал встретить ее насмешливые серые глаза, которые всегда смотрели прямо в душу. Пальцы у нее были сильные, ногти коротко острижены, чтобы не стучать по клавишам, как объяснила мне Лена. Выражение лица хмурое, губы сжаты, как будто она боялась проговориться во время игры. Саша, который сам играл на рояле и даже, как потом оказалось, сочинял музыку, смотрел не на Лену, а куда-то в себя. У него появлялся румянец, и Алиция Станиславовна, которая любила его больше, чем меня, потому что он был «тонкая художественная натура», глядя на Сашино лицо, качала головой и вздыхала: «А все-таки, Саша, я бы на твоём месте проверила легкие».

Окно в сад было открыто, но в комнате всегда стоял застоявшийся запах духов. На стене, против рояля, висела темная старая картина, изображавшая купальщицу, пробующую пальцем белой удлиненной ноги воду темно-зеленого цвета. Гриша, который приносил рыбу, всегда недовольно сопел, косясь на купальщицу. Гриша осуждал ее и за то, что «бесстыжая», и не одобрял зеленую воду, покрытую кувшинками. «Болото, а не вода. Я бы сроду в такой не стал купаться», — заявлял он твердо. Музыка Гриша любил, но почему-то стеснялся этого, как слабости, недостойной мужчины.

Впрочем, он любил не только музыку, но все, что делала Лена. Он буквально расплывался, видя ее, сносил ее шутки, выполнял любую ее просьбу. Держался с ней он всегда оди-

наково — хмыкая и усмехаясь, будто снисходительно прощая ей слабости. Мы все любили его неуклюжесть, честность, прямоту, а больше всего — литые мускулы и смелость. Не раз ходили мы в открытое море на рыбацкой плоскодонке, пропахшей смолой и рыбой. И каждый раз удивлялись, какой он ловкий, сноровистый, бесстрашный. Когда мы плавали в Малой бухте, где купались не курортники, а настоящие ребята, среди острых скал и бурунов, под отвесным берегом, нависавшим карнизом, Гриша превращался из сорокалетнего отца семейства в молодого дельфина-озорника: он хохотал, нырял, «топил» нас и хриплым голосом пел «Кукарачу»...

Николай Николаевич, отец Лены, платил Грише как садовнику. Семья у Гриши была большая: теща с голссом боцмана, жена с четырьмя ребятишками, мал мала меньше, и слепой старик отец, пропахший дымом, — лучший коптитьщик рыбы.

Гриша чувствовал доброту Николая Николаевича и не оставался в долгу. Он весь год следил за дачей. Вскapyвал Ивановым землю под цветы и белил стволы деревьев, чтоб не плодились гусеницы. Делалось это ранней весной, когда Ивановы были еще в своем Куйбышеве. Зимой он иногда проветривал комнаты или подтапливал, чтобы не завелась сырость. То, бывало, забор починит, то погреб выкопает, то крышу переберет, чтоб не потекла, а уж о свежей рыбке и говорить нечего — летом ни один улов не пройдет без того, чтоб у Ивановых не шипела на сковородке пухленькая кефаль или розовобокая барабулька.

Алиция Станиславовна не очень-то разделяла всеобщие восторги: ее шокировала Гришина невоспитанность, да и щедрость рыбака казалась ей сомнительной. Со вздохом, вежливо и осторожно, но напоминала она о том, что расходы по содержанию садовника, как ни считай, а превышают все Гришины щедроты. Лена гневно сдвигала брови, и Алиция Станиславовна тут же испуганно спешила переменить тему разговора. Николай Николаевич, седой, высокий, в золоченом пенсне, только улыбался и молчал. Он совсем не интересовался домом, бытом, передоверив все, кроме заботы о Грише, своей супруге.

Тут же он был неумолим. Эта странность мужа беспокоила Алицию Станиславовну. Она как-то поделилась со мной предположением, что в Николае Николаевиче заговорило происхождение — знаменитый ученый вырос в бедности и

оставался предельно прост и нетребователен ко всему, что касалось жизненных удобств.

Лену он любил, пожалуй, даже болезненно. Но это ни в чем внешне не проявлялось. Он почти не говорил с ней и только поглядывал изредка из-под блеснувшего пенсне — быстро и тревожно. Когда она заболела в детстве скарлатиной, он, рассказывают, не спал ни одной ночи, сам выходил дочь. Но когда у нее все шло хорошо, отец будто и не замечал ее. Она любила его так же молчаливо, сурово и верно. Никто не мог утешить его в несчастье, как она, никто не мог так умело и незаметно поднять его настроение после частых сцен экспансивной и мнительной супруги.

Николай Николаевич до ночи засиживался в своем кабинете, целиком уходя в работу. Алиция Станиславовна с годами примирилась с тем, что ее «не понимают». С каким-то необузданным, экзальтированным чувством ревниво оберегала она свою дочь от «вредных влияний», которые виделись ей даже в ночных кошмарах. Их олицетворяли куйбышевские подруги, случайные попутчики в поезде, Гриша-рыбак, даже отец, этот несносный «эгоист и жестокий, жестокий человек», абсолютно лишенный «чувства прекрасного».

Когда Лена играла, Алиция Станиславовна прикладывала шелковый платочек к глазам и вздыхала. Она была из какого-то шляхетского рода и гордилась этим. Она любила рассказывать, что на родине «оставила» — слово это подчеркивалось с видом смилившейся гордыни — фамильный замок с картинами, изображавшими все поколения ее рода, рыцарями в доспехах, стоящими в нишах большого зала, и криком сов в дубовой роще... Но, во-первых, оставил всю эту музыку еще ее дед, а потом, есть о чем жалеть! Она жаловалась, что Лена резка и своевольна, что она лишена художественной среды и рада, что хоть здесь судьба подарила ей и дочери нас, вполне интеллигентных «юных друзей», которые не могут дурно влиять на ее дочь.

## МОЙ ДОМ

Я долго думал тогда о своем положении, но ничего придумать не мог. Тысячи раз передумывал я свою короткую юность в мыслях, тысячи вариантов перебрал, но в итоге получалось одно и то же: Лена любит меня, а я — инвалид



и не имею права связывать свою судьбу с ее судьбой. И я решил не отвечать на ее письма. Благо время было моим союзником. Шла война.

Саша еще раз проявил благородство. Он один знал, что со мной случилось: я написал ему из госпиталя. И он тоже «пропал» для Лены, не писал ей.

В Баку я прожил около недели. «Белый билет» — то есть свидетельство полной негодности для военной службы — отрезал мне путь на запад, где дрались с фашистами мои товарищи, а на восток, к родителям, мне было страшно ехать. Я предпочитал обманывать маму, что рана в ногу мешает мне летать, что я работаю в военкомате, что было уже правдой, и что, как только война закончится, мы встретимся. Собственно, писал только я — на адресный стол Джамбула. Ответа пока не было.

Не отвечал и Саша. Я знал, что он служит в морской пехоте, но крымский театр военных действий был ликвидирован, куда его перебросили, было неизвестно. Так я остался совсем один.

Не буду рассказывать о своей жизни в Баку. Я жил мечтами о возвращении в Анапу.

В 1945 году отцу поручено было восстановление винного комбината Абрау-Дюрсо. Условились, что к лету вернусь на родину и я.

И я вернулся. Даже немного раньше родителей.

Как сейчас, вижу синее-синее небо, дорогу от Тоннельной, петлями спускающуюся вниз, разрушенный санаторий «Семигорье», обсаженное акациями шоссе, виноградники, среди которых так непривычно было видеть немецкие полукапониры, плавный подъем к станице Анапской, мост через заросшую камышом Анапку, синеву вдруг открывшегося справа моря, потом пригород, заросший садами, белые домики из побеленного самана, длинная улица Крымская...

В Анапу я въехал, прямо скажем, не на белом коне.

Я встал на ногу, опираясь на крышу кабины, и постучал в заднее стекло. Полуторка зачихала и остановилась. Я вылез из кузова, поправил вещмешок и протянул шоферу банку сгущенки. Он из приличия отказался, но потом взял.

— И это все от Анапы?

Я огляделся. Место было мне знакомо, но как же изменила его война! Передо мной был огромный пустырь, буйно заросший бурьяном, за ним начинался спуск к морю, виднелись несколько фанерных палаток, видимо наскоро ско-

лоченных, и цветные грибки. Слева улица носила условный характер — дома сплошь были разрушены, далее справа виднелись редко сохранившиеся дома.

Я пошел к дому тети Лизы. Она жила там же, на старой, зеленой, как оказалось, мало пострадавшей улице Новороссийской. Далеко от моря.

Тетя меня не ждала, приезд был не подготовлен. Я просто в последний момент получил документы. Этот год я работал в военкомате. А там ко мне привыкли, и военком все тянул с увольнением. Баку я покинул без особого сожаления — привыкнуть не успел, да, видимо, родина — вещь упрямая: тянет туда, где прошло детство.

— Тетя Лиза, это ведь я...

Я стоял у калитки со стороны улицы, а тетя, прищурившись, смотрела на меня со двора — не узнавала.

— Боже мой, боже мой! — Она бросилась ко мне.

Я умывался у колодца. Тетя лила мне холодную воду на шею. Мы говорили наперебой, как всегда бывает, когда люди долго не видятся. Входя в дом, я ударился о притолоку — какие стали низкие двери! Тетя смеялась и плакала. Все у нее валилось из рук. Я говорил, что она не изменилась, а сам думал о том, что годы еще никого не красили; тетю было трудно узнать: энергия ее осталась, но делала она все суетливо, путала, забывала, куда что положила, мысли ее тоже причудливо кружились по кругу, не доходя до точки. Нет, к сожалению, это было не от волнения — старость...

Я наскоро закусил и извинился: приду поздно, надо все обегать.

— Как же ты... — Тетя сказала и зажала рот в испуге: она имела в виду протез.

Но я обнял ее за плечи:

— Бегаю, бегаю, тетя Лиза, еще как бегаю!

Я побрился, почистился и, напевая, закрыл за собой калитку.

Зелень бушевала как никогда, будто стыдливо старалась закрыть раны города. Я шел по каменным плиткам тротуара в тени акаций. Люди попадались мне редко. Женщины, низко повязанные белыми платками, черные как галки, стояли у калиток. Калитки были из спинок железных кроватей. Женщины щурились на солнце, тревожно всматривались в меня, пока я подходил, и тотчас исчезали в глубине двора, как только успевали убедиться, что я не их сын, муж или брат... Некоторые женщины продолжали стоять и смот-

рели мне вслед. На Черноморской я свернул направо и, дойдя до Протаповой, снова повернул налево. Турецкий вал, тянувшийся вдоль моей улицы, зарос травой и лопухами. За ним правая сторона той же Протаповой носила свое название — Крепостная. На ней до войны жили греки. У них был свой уклад, свой быт... Я возвращался на родину, где каждый камень, каждое дерево было больше чем камень, больше чем дерево. Я подходил к своему дому.

Я помню, как его строили. Мне было лет пять с чем-то. Он казался мне очень высоким. Помню леса, каменщиков, которые пели, кладя кирпич. Помню, как мама, молодая, в красном сарафане, варила им украинский борщ в большой кастрюле на мангале, который сделал ей грек Костя Челикиди. Он взял старое цинковое ведро, прорезал в нем оконце, выложил изнутри стенки осколками кирпича, промазал глиной, разделил поддувало от печи полосками нарезанной кусачками проволоки, положенной крест-накрест и замазанной в края мангала, и мангал был готов. Потом мама сама делала мангалы, их у нас было несколько, и Костя хвалил маму.

Я вспомнил запах углей, дым, который шел из-под кастрюли, запах борща с салом, раскидистую акацию, под которой был вбит самодельный стол на крепких четырех ногах, стол, отполированный за много лет, который скребли ножами и мыли с мылом, и он кудрявился коричневыми волосками, пока не просыхал.

Вспомнил: я и мама идем с базара и несем тяжелые ящики с гвоздями разной длины. Собственно, несет мама, а я помогаю — у меня маленькое ведерко — и тоже часто меняю руку.

Папа не строил дом: он всегда был в командировке. Строила мама. Папа любил чистые идеи. Он чертил расположение комнат, давал общие указания и уезжал в командировки. Ему, говорил он, скучно ждать, пока осуществляются его идеи. И он придумывал новые раньше, чем осуществлялись старые. Так, были построены по его указаниям колонны из фальшивого мрамора, но не хватило средств на крышу, и до осени мы спали в большой комнате, в которой были видны звезды. Папа лежал рядом со мной и показывал мне Сириус, Вегу и созвездие Орион.

С тех пор я люблю астрономию...

Сейчас я стоял между стен родного дома и смотрел на небо, по которому плыли облака. Крыша была у нас цинковая, зеленого цвета, а на трубе фигурная резьба...

Тетя Лиза писала мне, что бомба была большая. Теперь я не сомневался. Даже определил: тонная, фугас.

Я медленно пошел к маяку. Солнце стояло в зените. Солнечная дорожка на море тянулась до горизонта, вспыхивая и слепя глаза. На высоком берегу было пустынно. Шум моря сюда доходил ослабленно. Маяк смотрел пустыми глазницами. Одна стена его обвалилась. Железная лесенка висела в небе, будто кружилась на одном месте. Я стал в тени маяка и долго смотрел на море. Оно было спокойно и величаво. Потом я пошел по узкой тропинке, пробитой годами прогулок, вдоль самого обрыва. Она привела меня на мраморную плиту, перекинутую через ров. На ней все так же были написаны странные и казавшиеся нам в детстве таинственными слова: «Остановись, черт! Куда тебя несет!» Мост назывался Чертовым. За ним начиналась каменная ограда кладбища. Кладбище заросло высокой травой, полевыми цветами, кустами сирени. Многие могилы были разрушены артиллерийскими снарядами. На размытой, осевшей могиле лежала каска.

Могилы дедушки и бабушки я не нашел—десятки новых холмиков щетинились полынью. Летали белые бабочки, трещала цикада в недвижимом воздухе. Только большой памятник черно-белого мрамора с ангелом, державшим крест, все так же возвышался в центре кладбища. Папа говорил мне шепотом, что тут лежит студент, умерший от туберкулеза. На четырехгранном постаменте были выбиты строки из стихотворений Некрасова и Надсона. С моей стороны плита откололась, и между рябин — следов от осколков — можно было разобрать только несколько слов: «Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает...» Я грустно улыбнулся. Когда-то мы, почему не помню, всегда смеялись над этой «арфой».

## КАК Я УЧИЛСЯ МУЗЫКЕ

Плиты для могил делал тот же Костя-грек. Он работал прямо на кладбище. Мы часто сидели на траве и смотрели, как он постукивает молоточком по стамеске. Молоточек был деревянный. Был и другой — железный. Стамески — разных размеров, от плоской и широкой до шестигранной, похожей на большой гвоздь. Костя сидел верхом на плите, босой, голый до пояса, в широких синих клешах. На груди его была

татуировка: русалка с большими чернильными глазами и длинными ресницами.

Костя был мастер на все руки. Например, он давал уроки на мандолине по цифровой нотной системе. Учился у Кости и я. Репертуар Кости был небольшой, но своеобразный: «Светит месяц», «Интернационал», «Утомленное солнце», «Кукарача», «Очи черные». Он долго мусолил химический карандаш толстыми губами, потом, высунув язык, долго выводил на кривых линейках цифры в моей школьной тетрадке. Количество линеек соответствовало числу струн мандолины, а цифры означали, каким пальцем надо прижимать струну. Сердцевидная цветная штукавина из тонкой пластмассы называлась «медиатор». Помню, что когда медиатор нагревался, он пах аптекой. Им надо было тереть струны, легко и быстро касаясь их. Я любил эти «упражнения», хотя так называть то, чем мы занимались с Костей, было чистейшей условностью.

После захода солнца, умывшись возле колодца и надев чистую рубашу, кое-как пригладив топорщившийся чуб, я бежал, зажав под мышкой блестящую перламутровыми пластинками деку мандолины, через турецкий вал. Это уже было приятно, так как тропинка круто сбегала вниз и ветер свистел в ушах, и казалось, что с ходу можно взбежать снова наверх, на «греческую сторону». Иногда мне это и удавалось. Тогда в ушах свистел не только ветер, но и воинственные крики моих сверстников — носатых и черноглазых «греченят», как звала их бабушка.

Двор Кости Челикиди был экстерриториальной зоной. Если мне удавалось проскочить засаду и вбежать в его низенькую калитку, на которой было написано: «Не устучи — закурито», мои преследователи сплевывали через зуб и, засунув черные грязные кулаки в выцветшие штаны, перешитые из паруса, с достоинством удалялись. Но были и другие варианты.

Так, однажды я отбилса мандолиной, и Костя начал урок с того, что заварил пахучий столярный клей и натянул вместо обрывков моих струн какие-то толстые, говорившие басом, видимо гитарные. «Мне жалко твою бедную мамочку, — сказал Костя, — тоже мне Рубинштейн...» В этот вечер «Светит месяц» звучал похоронным маршем. Коричневые струны рокотали, как море в шторм.

В другой раз Костя учил меня сводить синяк у глаза большим медным пятакон и рассказывал, как он чуть не ку-

пил «Ласточку» у одноглазого скупца Попандопуло, но вовремя заметил, что днище требует капитального ремонта. Когда мы спохватились, что час истек, а «Кукарача» все еще ждет своего художественного истолкования, Костя философски заметил, что в искусстве много значит настроение... Потому мне и нравилось заниматься с Костей: все у него было продумано как нельзя лучше. Он не делал из музыки культа, не злоупотреблял и теорией. Так, например, когда тетя Зина, его веселая жена, которая всегда подмигивала и ходила, смешно косолапя стоптанными чувяками, пригласила нас закусить копченой барабулькой после усилий овладеть первыми тактами популярного танго, она запросто использовала как салфетки нотную запись этого произведения. Костя на мой немой вопрос заметил, что дело это вполне поправимое — Попандопуло рассказывал ему, что ноты восстанавливали через тысячу лет. Через полчаса мы пели вместе с тетей Зиной:

Утомленное солнце  
Нежно с морем прощалось.  
В этот час ты призналась,  
Что нет любви!

Костя аккомпанировал на столе, выстукивая крепкими пальцами, один из которых был наполовину отрублен вместо каната во время шторма.

Занятия мои закончились самым неожиданным образом. Мама захотела прослушать наш репертуар в конце месяца и пригласила Костю на чай с домашним печеньем, которое я помогал формировать с помощью стопки. Мама руководствовалась простой деликатностью: неудобно посылать Косте зарплату со мной. Я был на седьмом небе: Костя, конечно, очарует маму! Но Костя повел себя как-то странно. Он был тихий и неузнаваемо робкий. Сначала он обнаружил, что у него болит горло и прямо на глазах стал все больше хрипеть. Но тетя Зина что-то сказала ему по-гречески и подмигнула мне. Костя снова заговорил без хрипа, надел новую тельняшку и, вздохнув, пошел за мной.

В саду под акацией уже сидели за столом мама, бабушка и соседи. Костя поклонился всем, снял капитанскую фуражку, повесил ее на ветку дерева и сел на краешек стула. Я заметил, что он совсем скис, и хлопнул его по спине. Он криво улыбнулся. Бабушка уже несла мандолину на вытянутых руках, как выносили меч для освящения рыцаря. Я смело взял инструмент, положил ногу на ногу, упер тыльную

часть мандолины в живот и спросил Костю, что играть. «Любое», — осевшим голосом произнес мой учитель и махнул рукой. Ах, неосмотрительный жест! «Светит месяц» не принес бурных аплодисментов. Небо затягивалось тучами. Помню, что я сбивался на каждом шагу, и, красный от напряжения, Костя шептал: «Четыре ноль, на второй опять ноль, держи медиатор крепче, зажимай его...» Когда я попробовал взять реванш на «Кукараче», бабушка с испугом посмотрела на маму, мама теребила край торжественной скатерти. Потом Костя вспомнил, что ему давно пора домой, и хотел бежать, забыв капитанскую фуражку. Мама у калитки уговорила Костю взять деньги, а тот благородно отказывался от гонорара, на мой взгляд вполне заслуженного. Помню, что мотивы у Кости были самые альтруистические: «Что вы, мадам Сторчинская, мне просто приятно было заниматься с таким способным мальчиком!»

Почему-то на этом мои занятия музыкой прекратились. Но с Костей мы по-прежнему оставались большими друзьями.

## ЦВЕТНОЕ МОРЕ

Прямо с кладбища крутая тропинка вела к морю. Я стоял у края обрыва, но теперь мне не удалось бы спуститься вниз. Там между скал барахтались двое черных от загара мальчишек. Они, вероятно, давно были в воде, потому что, выскочив на берег, несмотря на жару, буквально тряслись от холода и долго не могли попасть ногами в штаны. Смеясь и отталкивая друг друга, они стали карабкаться по тропинке. Вода блестела на их загорелых худых спинах, а там, где спина подсохла, проступала соль. Им было лет по девяти. Оба были стрижены под нулевку, но голова первого была такое солнышко, она, казалось, светила. И личико его, маленькое, круглое, все было усыпано веснушками. Второй выглядел старше. Лицо его населяли большие глаза с девичьими ресницами. Глаза были странные — они жили отдельно от его жестов, смеха, от всего его детски-тщедушного, очень худого тела. В них была какая-то таинственная ровная сила. Все это я рассмотрел, пока мальчишки, взбежав по тропе, остановились против меня и с чисто детской непосредственностью, в которой потому и нет жестокости, уставились на мой протез.



— Давайте знакомиться,— серьезно сказал я.— Лейтенант Сторчинский.

— Вы на «ЯКе» летали? — вместо ответа спросил рыженький.

— Так точно.

— Саша,— тихо произнес мальчик с большими глазами.

— А ты — Боря? — усмехнулся я, обращаясь к «солнышку», но тот отрицательно повертел головой:

— Почему — Боря? Жора.

— Тоже неплохо,— сказал я.— Кем хотите быть? Моряками?

— Я — летчиком,— все так же тихо и серьезно сказал Саша, хотя за это время они успели обменяться подзатыльниками и пинками. Делали они это как бы автоматически, может быть, инстинктивно, так как им надо было двигаться — на теле все еще не сходили мурашки.

У Саши глаза постоянно меняли цвет, и я не мог определить их окраску: то они казались синими, как небо, то отдавали цветом волны, то бродили в них отсветы облака, когда он смотрел на меня. Такие глаза были у моего друга, такое же удлинненное лицо с часто набегавшим румянцем, который просвечивал даже сквозь загар. И я вспомнил...

Это было давно. Я был тогда такой же маленький, как эти мальчишки.

«Зеленое... Красное... Зеленое!..»

Эхо донесло до меня его голос почти через тридцать лет: «Ну, ну же, Борис! Неужели не видишь?.. Ты прищурь глаза! Видишь?» В голосе моего друга жила надежда, и потому звенело чистое серебро. Я злился и просил оставить меня в покое, так как до конца и не понимал — не розыгрыш ли это? А он хохотал, счастливый и пьяный оттого, что ему казалось, будто он видит днем цвета маяка на горизонте. «Слепые! Какие вы слепые!..» — «Не вижу, ничего не вижу! — радостно кричала Лена.— И ты не видишь, но хорошо врешь!» А я не понимал, почему она радуется, и стоял насупившись: не нравилось мне это сумасшествие. Я вообще не любил путаницы, неясности, загадок, мистификаций. В эти мгновения Саша раздражал меня. Другое дело — плыть наперегонки или нырять на дальность. Тут все было видно. Если я проигрывал, я знал, что проиграл, и не обижался. Видеть то, что никто не может видеть,— надо же придумать!

— ..И я сам не знаю, как это получилось. Кто-то внутри меня сказал, а я услышал:

— А ну, проверим зрение. Какого цвета вода на горизонте?

— Синяя! — закричал Жора, ни секунды не колеблясь. Саша пристально смотрел на горизонт.

— Синяя! — не унимался Жора.

— погоди, — сказал я. — Не торопись.

— Когда долго смотришь, черная, — раздумчиво сказал Саша.

— А сейчас? Зеленая... Красная... Зеленая... Прищурьтесь. Видите? Прóтив маяка...

— Маяк не работает, — отпарировал Жора. — А потом, красное море не бывает. И зеленое не бывает. Оно синее.

— Зеленое... красное... зеленое... — бормотал Саша. — Нет, не вижу... — Он очень расстроился и даже вздохнул.

— Смотри еще, — настаивал я.

Мне казалось, что это очень важно, чтобы Саша увидел то, что видел мой друг. Я не мог бы объяснить, почему важно, но чувствовал это, надеялся, что чудо, которое было однажды, не может исчезнуть навсегда. И самое удивительное, мне показалось, что я тоже начинаю различать эти цвета там, где море нежно касается горизонта. Саша потер глаза и весь подался вперед. Жора смотрел не на море, а на своего товарища, он даже присел и высунул язык. Лицо его было впервые лишено того шельмоватого и самоуверенного выражения, которое до сих пор не сходило с его круглой физиономии. Он надеялся на друга.

— Вижу! — Саша закричал это так радостно и громко, что я вздрогнул.

— Где? Где? — растерянно спрашивал Жора, а Саша прыгал и кричал:

— Вижу! Вижу! Зеленое, красное, зеленое!..

Мы шли уже минут двадцать. Протез здорово натер ногу, но я обещал ребятам показать нашу пещеру и, чего бы это ни стоило, решил дойти до нее. Да и самому мне было любопытно через много лет войти в святое святых моего детства, нашего с Сашей детства... Городок остался позади. Мы подымались в гору. Море, отсюда совершенно синее, оставалось все время сзади, потом показалось справа, а затем скрылось за выступом горы. Пахло полынью и мятой. Мы шли между

редкими кустами кизила. Ребята время от времени забегали в кусты и срывали твердые красные ягоды, лакированные на ощупь и терпкие на вкус. Кизил еще не доспел, и у самой косточки оставались белые волоски, щекотавшие язык. Мякоти, если можно было так назвать жесткое тело плода, было меньше, чем косточки. Я сломал палку и показал ребятам, как легко из нее сделать лук — кизил гнется хорошо и вязкость у него больше, чем у акации. Из акации же лучше делать стрелу — она легкая.

— А наконецник из колючки умеете делать?

— Каждый дурак умеет, — сказал Жора, который снова почувствовал уверенность в себе. И верно, я ведь забыл, что они выросли на том же берегу, и странно было задавать наивные вопросы.

Дорога стала чаще петлять, пошла круче. Ребята забегали вперед, а потом поджидали меня, нетерпеливо оглядываясь. Гимнастерка взмокла. Нога болела. Солнце напекло голову, фуражка казалась тяжелой каской.

— Скоро дойдем? — спросил нетерпеливый Жора.

— Уже немного, — ответил я, с улыбкой рассматривая высокие шлемы из лопухов, скелотых колючками кизила, которые украшали детские головы.

Ноги ребят казались белыми от пыли до икр, а худые лопатки блестели как начищенная медь. На этот раз они ждали меня в тени глиняного обрыва, под которым проходила тропа. Это был карьер, откуда возили глину. Дно карьера было ярко-желтым, стена — коричневой. Я встал в узкую полосу тени, снял фуражку. Саша ковырял глину грязным пальцем, а Жора, сидя на корточках, мяд уже большой комок в своих потных ладонях. Глина пахла сырым и затхлым.

— Там ручей есть, — сказал я.

— Ого! — радостно отозвался Жора. Нос его был в глине, глаза казались совсем желтыми.

## МОЙ ДВОР

Я вспомнил свой двор, когда он казался мне материком, когда деревья были огромными, а тень от ветвей ласковой защитой, когда трава, мягкая, сочная, пахнувшая свежестью, щекотала лицо, а солнечные зайчики перебегали по ней как живые...

Выбита трава была только по дорожкам. Одна вела вокруг дома к колодцу, который стоял на границе участков. Колодец был новый, его чистили и сделали свежий сруб, крышу. Старым оставался барабан — блестящий и гладкий от тысячи ладоней. Когда с рокотом опускалось ведро, разматывая веревку, барабан подскакивал оттого, что один бок его был чуть толще другого, вот тут и надо было его прижимать ладонью. Она становилась постепенно горячей. А когда вода, поблескивая в ведре, подымалась до уровня сруба, надо было, продолжая вертеть правой рукой барабан, перехватить левой тонкую, режущую детскую ладонь дужку и, приподняв ведро, осторожно, чтоб не слишком расплескать воду, поставить на край сруба, одновременно начав разматывать барабан. Два оборота — как сейчас помню. Поверхность воды покачивается в ведре все медленнее и целиком, будто ее покрыли черной крышкой. Мне нравилось отпить холодной воды через край ведра, хоть это и не разрешалось. Потом я нес ведро, перегибаясь в обратную сторону и размашисто меняя руку.

Дорожка, твердая, казавшаяся босым ногам каменной, вилась среди травы к сараю, манящему летом прохладой и темнотой. Окон в нем не было, свет падал туда большим прямоугольником в широкие двери, одновременно служившие и воротами. Обычно ближе к двери и стояли мангалы, хозяйственные столики — наши и тети Лизы, которая жила с нами, но готовила отдельно на свою «ораву».

А орава была: ее муж, дядя Миша — бухгалтер и домашний философ с большим носом, головастый Сергей и совсем сопливая Саша, которая все время болела и просила скороговорочкой: «Либи-хиби», что означало «рыбы, хлеба». Они приехали с Украины.

С ними приехал и мой дедушка, седой, высокий, голубоглазый, сухой старик с коричневым от загара телом, похожим на поджаренную хлебную корочку. Он ходил дома в чистой сорочке из домотканого полотна, в черных штанах, которые подвязывались красной бечевочкой. От него всегда исходил какой-то свежий, чистый запах, как будто пахло белым на морозе. Борода, белая, большая, была жесткой и всегда пахла табаком, но не резким, а каким-то слабым, будто он не курил, а вдыхал свежее сено.

Вход в дом с улицы — парадный — был почему-то заложен кирпичом и забелен, а входили мы со двора, попадая сперва в застекленную террасу вдоль всей стены, а оттуда

вели три двери: в мою комнату, прямо — к тете Лизе, а чуть левее, рядом с тетей Лизой, была дверь к нашим остальным двум смежным комнатам.

Выйдя на тропку, ведущую назад к сараю, можно было свернуть чуть левее, и ты попадал в сад, еще дальше она вела в виноградник, мимо грядок небольшого огородика и упиралась в зеленую дощатую будку у самого забора. В будке была крутая крыша, а под нею — вырезанное сердечком отверстие. Летом, когда я просыпался от хриплого крика и хлопанья крыльев соседского петуха, первое, что я видел, протирая глаза, — это то, как мама в красно-белом сарафане шла по дорожке с ведром и веником к зеленому сооружению с сердечком. Потом там плескалась вода на пол и слышалось шуршание веника, гремело ведро, и из зеленой будки текли ручейки воды. На траве с час примерно оставались капельки, а пыль на дорожке сворачивалась в круглые пилюльки, которые постепенно лопались и превращались в подобие рыбьей чешуи, — солнце брало свои права.

Мама тихо напевала украинскую песенку о какой-то Ганке-молодице и шла плескаться к сараю, а я снова засыпал, пока в мои ноздри не проникал запах дымка от мангала. Утром он неторопливо подымался кольцами фиолетового цвета и дрожал днем, когда солнце было злее. Я спал на раскладушке под деревом, и утренние лучи касались лица около семи.

Итак, тропка нагревалась солнцем, и ноги ощущали тепло земли. Как я любил это ощущение приятной щекотки! На мне были черные или синие трусики, и ничего больше. Кожу все время обдувал ветерок. В детстве она входила в прямые отношения с природой: когда было холодно, она ощущала холод и искала тепла, когда было жарко, она чувствовала приятное прикосновение солнца, а сквозь закрытые ресницы расходились зеленые и красные круги, похожие на павлиньи перья. Когда кожа нагревалась, она пахла чем-то с детства приятным, что потом взрослые назовут «тело пахло солнцем», но это никак не будет выражать того волнующего запаха. Ведь так по-особенному может пахнуть только кожа, которая, перед тем как нагреться солнцем, здорово промерзла. Но взрослые часто забывают то, что они знали в детстве!

Но теперь я далеко не уйду с дорожки, которая уже нагрелась под солнцем... Потому что теперь и начинается самое интересное. Пока меня не позовут за стол, пахнущий влаж-

ным деревом, только что вымытый, на котором лежит листик акации, нежный и тонкий, как светло-зеленый лоскуток шелка; пока тугой зеленый лук, сверкая капельками холодной воды, и красный редис, и запотевшая бутылка молока из подвала, и громадная маслянисто-черная сковорода с яичницей и салом, извергающая пар и шум, подобно остановившемуся паровозу, — пока все это, раздражающее глаз и обоняние, великолепие южного стола, ломящегося от крупных ломтей хлеба, горки помидоров и намытого винограда, просвечивающего солнцем, пока все это еще не появится на столе, я пробегу по прохладной тропке и достану из заветного тайника, вырытого в кустах крыжовника у забора... железную коробку из-под монпансье.

В ней лежат семь рот отборных солдат, вырезанных из картона и терпеливо раскрашенных по всем правилам военной науки. Из-под куста выезжают также тяжелые танки. Они тяжелы и в буквальном смысле, так как вылеплены из глины. Цвет их натуральный — почти белый, но они раскрашены, и так как краска на глине не держится, танки похожи на настоящие — пятна и весь их облезлый вид напоминают хитрую маскировку. В башне торчит пушка — жестяная трубка от головки ученической ручки. Башня, конечно, вертится, так как насажена на стержень. Солдаты рассажены на броне. Танки замаскированы зеленью. А далеко на юге (возле забора, где густо растут лопухи) змейкой вырыты окопы противника. Там уже третью ночь мокнут от росы и корчатся от холода и солнца пять рот плохо обмундированных турок — краска с них облезла, головы покорно клонятся... Я представляю их живыми, и ненависть переполняет мое маленькое сердце, мне совсем не жаль их (мама моей сочинской подружки Манушак, говорила, что они вырезали всю семью их, она одна осталась, ей было тогда совсем немножко месяцев, ее не заметили в люльке). Главное, тихо выйти на рубеж атаки; я, ползая на трех конечностях, одной, а именно правой рукой, передвигаю танки, сдержанно рыча, и сам пугаюсь, что турки меня услышат. Танки остановились. Совесть не позволяет мне двигать их молча. Теперь я посылаю диверсантов. Три добровольца, выбранные моими пальцами из глубины коробки, радостно идут на задание. Они делают подкоп, и на флангах турок, ничего почему-то не подозревающих, появляются две спичечных коробки с тянущимися из них нитками, смоченными в керосине. Фитили подожжены, и пламя поползло к коробкам, наполненным предвари-

тельно соскобленной со спичек серой. Взрыв! Еще взрыв! Пламя, дым, и я двигаю танки на растерявшихся турок. Я утешу вражеские окопы, и стенки их рушатся, погребая солдат в ярких фесках... И тут мне кажется, что я вижу их лица, перекошенные от страха, с широко раскрытыми глазами, с поднятыми руками. Я останавливаю атаку. Теперь давить турок нельзя. Они — пленные. Я даже огорчился, что все кончилось так быстро. Но не могу же я нарушить освященные веками войн правила благородства по отношению к пленным. Я окружаю их зелеными фигурками красноармейцев, и турки унылой толпой бредут по дороге. Я чувствую пыль, поднятую их стоптанными сапогами, даже чихаю, но иллюзия разрушается. Мама говорит мне: «Будь здоров. Где ты там?..» Она пришла звать меня на завтрак. «Ты умывался? Покажи зубы... Нет? Мигом!» И я покидаю дымящееся поле боя. Я умываюсь в саду холодной водой, и солнце с ветром играет в такую чехарду с листьями, что сквозь намыленные веки я все равно ощущаю зеленую круговерть света.

После завтрака я вывожу флот. Река — это тропинка, выходящая среди травы. Трава — джунгли. Корабли тоже из глины. На них матросы в веселых бело-синих рубашках. Они высаживаются в бухте — между развалинами древнего храма (половинка битого кирпича)—и долго продираются сквозь джунгли. Я слышу свист их длинных кортиков, которыми они рубят лианы, слышу их тяжелое дыхание. У одного матроса началась лихорадка, лицо его пожелтело, оно покрыто каплями пота. «Оставьте меня... Идите вперед!» Капитан садится на сваленный бурей баобаб и разворачивает карту: «Тысяча чертей! Мы заблудились». Все сбились в кучу и молчат. На ветвях кричат обезьяны...

Далеко завела меня тропинка!

## ПЕЩЕРА

Вот мы и у цели. Мы вышли по вершине горы к глубокой лагуне. Мы смотрим на ослепительное море сверху. Теперь придется спуститься вниз к воде по крутой тропинке. Осторожно начинаем спуск. Собственно, осторожность нужна мне. Саша и Жора ловки, как обезьяны. К тому же они бо-сиком. Под протезом осыпалась земля, я пошатнулся и метров пять съезжал на ногах. Потом ухватился за камыш. Зе-



ленный молодой камыш на время скрыл море. Продравшись сквозь его заросли, мы увидели черный вход в пещеру. Ребята переглянулись.

— Не бойтесь... У меня спички.

Мы вошли в пещеру. Потолок ее был влажен и низок. Спичку задуло. Я снова зажег ее и увидел глаза Саши — они были распахнуты, как окна, они ждали чуда... Шаги мои раздавались гулко, пол пещеры был каменным. По стенам двигались тени, наклоняясь над нами. Пещера стала шире, под нашими ногами то справа, то посередине, то слева бежал широкий ручей.

— Холоднющая, — сказал Жора о воде.

— Тише... Вы слышали? — спросил Саша.

Лицо его было серьезно. Я прислушался, но ничего не услышал. Только капала вода с потолка да чуть слышно шелестел ручей.

— Кто-то кашлянул, — сказал Саша.

— Врешь, — испуганно предположил Жора.

— Я слышал кашель, — упрямо повторил Саша.

— Твое же эхо, — успокоил ребят я.

В это время погасла спичка. Жора охнул и ухватился за меня. Я нащупал Сашину спину и ощутил, как колотится его сердце. Я даже не предполагал, что стук его можно почувствовать через спину.

— Сейчас я зажгу спичку. Тут никого не может быть.

Когда неяркий свет осветил пещеру, ребята засмеялись. Теперь им было немножко стыдно.

— Дальше я не смогу пройти — низко. Кто возьмет спичку и пройдет вперед? Через сто шагов будет поворот налево, надо дойти согнувшись до развилки пещеры и пойти по правому ходу. Шагов около двадцати. Там будет тупик. Под плитой лежит старый портфель, в нем карта, компас и финский нож. Ну, кто?

Пауза была недолгой.

— Я, — сказал Саша.

— Я бы тоже мог, но не хочется, — сказал Жора.

Я показал Саше, как держать спичку — головкой вверх, передал коробок мальчику и хлопнул его легонько. Он пошел, словно по инерции толчка, и скоро свет стал неразличим.

Прошло минуты две, и Жора не выдержал.

— Можно кричать? — шепотом спросил он.

— Валяй, — разрешил я.

— Са-ашк!

Жоркин крик прозвучал как-то жалко и быстро погас. Ответа не последовало.

И я вспомнил другой крик в пещере. Это было под Аджи-Мушкаем, в каменоломнях, в Крыму. В войну.

Как он кричал! Я никогда ни до, ни после того не слышал такого крика. Так люди не кричат. Так даже звери не кричат... Немцы пытали его трое суток, и, когда его привезли полуживого в госпиталь, все пережитое снова встало перед ним, и, наверное, теперь, после того, что он знал, что это такое, было еще страшнее. Его звали Христо, он был грек, учитель в Керчи, жил там с детства и знал ход в пещеру, которая соединялась с каменоломнями. Мы отбили его во время контратаки ночью. И тот самый сотник Бойко, о котором я уже говорил, вынес его к катеру на руках. «Христос ты, не Христо,— сказал старик, покачав головой.— Неужели это люди?..» — говорил он о немцах. Мы положили его на палубу и покрыли шинелью — страшно было смотреть, так его изуродовали.

— Сашка! — закричал Жора радостно.

Да, это был он. Шлепанье ног по воде, и Саша появился из темноты. Я высоко поднял руку с зажженной спичкой.

— Ни-ни-ничего... — Саша говорил, заикаясь от холода. Он обхватил руками плечи. — И совсем не страшно. Ничегошеньки нет.

Конечно, а что же могло быть в пещере моего детства?

Неужели сам я верил в карту, компас и финский нож? Нет, конечно. Я верил в Сашу. Знал, что он дойдет до конца.

Когда мы выходили из пещеры, Жора снова закричал, уже не спрашивая меня, радостно и громко, как молодой петушок. Солнце било в глаза ярким полукружием из-под свода пещеры.

Потом мы лежали в тени от скалы на узкой кромке берега, и волны лизали ребячьи пятки. Я снял гимнастерку и сидел, глядя на белые бурунчики у скал. Ребята молчали. Головы их, стриженные «под нулевку», были в песке. Саша лениво чертил что-то пальцем по гравию, и вода просачивалась под пальцем, наполняла бороздки и блестела. Когда-то так лежали здесь мы.

Мои воспоминания прервал Жора:

— Дядя Боря, мы пошли домой.

Я пожал их смуглые ладошки и провел рукой по ежикам — рыжему и черному.

Они карабкались вверх, весело переговариваясь.

Море изменило окраску. Теперь по сиреневому тону прошла светло-зеленая кисть — дважды: на горизонте и в стороне маяка, далеко справа, за мысом.

Когда ребята скрылись за выступом пещеры, помахав мне на прощание, я разделся совсем, отстегнул протез и положил его рядом. На черной лаковой поверхности протеза отражались облака. И казалось, что протез запотеваает, как холодное стекло.

## СОКРОВИЩА «ЭЛЬПИДИФОРА»

Вернувшись из пещеры, я долго плутал среди развалин. Анапу я не узнавал. Вся главная часть города оказалась разрушенной до основания. Огнем войны были сметены зеленые заросли Пушкинской улицы, Пушкинского сквера, вырублена аллея акаций, ведущая к парку «Курзал» (он занимал всю оконечность полуострова «Плоский Стол», что по-турецки и означает «ана-па»), разметен, изгажен Высокий берег, до маяка застроенный когда-то красивыми старинными особняками в восточном стиле. А где они, специфично греческая Кубанская улица и район Греческого переулка с неповторимыми запахами кофе, с лавчонками, где продавали пряности, золотую копчушку и кишмиш, с бесконечными подвальчиками, где в полутьме чуть брезжили цветные фонарики и дышала прохлада, насквозь пропитанная кислотными запахами рислинга и каберне, подвальчики, где в былые годы сталкивали стаканы греческие матросы, и французы, и итальянцы, и турки, и болгары?..

В порту тогда стояли пароходы с разными флагами, с розами на трубах и желтыми полосками, а мы шныряли между тугими буртами пеньковых канатов, ящиками с финиками, бочками с розовым маслом, впитывая разноязыкий говор, запахи дальних стран, получая веселые подзатыльники и редкие монеты в обмен на золотые грозди шашлы и зеленоватоматового чауша... Вся пристань шумела, лязгала, скрипела лебедками, хохотала и размахивала загорелыми руками.

У меня до сих пор в ушах стоит ее солнечный, крепкий, про-солненный гул!

Вдоль мола ходили ялики, и матросы ругались нещадно, когда наши стриженные головы неожиданно выныривали из зеленой волны рядом с их тяжелыми веслами.

Мы заплывали и к пароходам, стоящим на рейде, оттуда было далековато до пристани, где волны были как качели большого замаха, а вода холодная и темно-синяя. Наш ялик «Альбатрос» шел за нами и страховал, что оказалось однажды весьма не лишним: у Саши свело ногу возле самого «грека» — парохода под греческим флагом — и мы едва успели вытащить его, так как под киль всегда тянет, это знает любой, кто плавал возле парохода.

Саша вообще притягивал к себе опасность. Однажды морской кот пропорол ему живот и грудь так сильно, что на всю жизнь остался шов от пупа до левого соска. Он молча доплыл до лодки, истекая кровью, и потерял сознание на обратном пути, когда мы с одним знакомым — греком Герой, — испуганно налегая на весла, торопились к берегу. Гера был худой, пучеглазый и большеносый врун вроде Мюнхаузена. Имя у него полное было Геракл, но, кроме имени, ничего общего с его легендарным предком.

Гера этот втянул нас и в авантюру с «Эльпидифором». Так назывался военный корабль, затопленный неподалеку от Анапы во время гражданской войны. Гера имел достоверные сведения, что на нем белые пытались увезти богатство в Турцию, что там погребены не только шкатулка с бриллиантами, но и редкое оружие, например: кортик адмирала Корнилова с золоченой рукояткой, черкесские серебряные кинжалы, — и прочее богатство, среди которого находятся и бочки с турецкими монетами.

Однажды на рассвете, пока рыбаки не вышли в море, мы проплыли вдоль скалистых берегов Высокого берега в сторону острова Утриш и бросили якорь возле бурунов, образуемых мачтами затонувшего «Эльпидифора».

Берег в километре, а может, и ближе. Гера набрал воздуха, его ребра еще больше обтянуло. Прижимая камень к плоскому животу, он нырнул. Сначала мы видели пузырьки на том месте, где раздавалась вода под хилым Гериным телом, потом и пузырьки пропали, а маленький Геракл все не показывался. Мы перепугались. Секунды стучали в наши сердца, ужас подкрадывался к животу, я спросил: «Как ты думаешь, он уже достиг палубы?» Саша, бледный и дрожа-

ций от холода и страха за Геру, покачал отрицательно головой. Оба мы понимали, что времени прошло достаточно для того, чтобы исследовать все каюты «Эльпидифора», а не только достичь палубы. Мы гнали от себя страшную мысль, но с каждой секундой она становилась реальнее: Гера погиб.

Тогда Саша, промывав что-то совсем невнятное, схватил второй камень и, судорожно хлебнув воздуха, прыгнул в воду. Меня обдало брызгами. Я ничего не успел сказать. Лодку качало. Я усталился на то место, куда провалились Гера и Саша. Вода была прозрачной и спокойной, и я некоторое время видел, как туманная тень Саши прошла по касательной к темному очертанию борта, проступавшему по мере того, как всходило солнце, и стала подниматься вверх.

Он вынырнул и, тяжело задышав, саженками подплыл к лодке. «Сволочь,—чуть не плача сказал он,—я его убью...» Саша не мог прийти в себя и задышался. Я помог ему взобраться в лодку. Он кинулся к корме, оттолкнув меня, и тут только я увидел, что Гера держится за борт сзади меня, стыдливо отводя выпуклые свои коричневые глаза. Саша замахнулся, но Гера нырнул и отплыл в сторону. Ну и смеялся же я! Но Саша весь трясся от гнева, и я насилу уговорил его простить Геру.

Тот порядочно замерз в утреннем море и уже только стучал зубами, когда мы его выловили. Потом мы ели бутерброды и толкались, чтобы согреться. Гера божился, что у него выскользнул камень. На вопросы наши о том, что же он все-таки видел, Гера бормотал что-то невнятное насчет песка, который попал ему в глаз.

Саша серьезно сказал, что корпус бронированный, заклепки ржавые, краска облезла всюду, что лежит «Эльпидифор» на боку, что каюта досягаема, так как иллюминаторы разбиты. Он видел рыбок, вплывающих внутрь. Но больше ничего не может добавить, так как больше смотрел по сторонам, ища тело Геры.

Наступила моя очередь. Я снял майку, взял камень, последний, самый тяжелый, и, медленно набрав воздуха, соскользнул вниз. Сначала погружение шло нормально и довольно быстро. Я увидел, как каюта поплыла вверх, и тут почувствовал, что грудь сдавило; я выпустил камень и поднялся к ряду чернеющих иллюминаторов, ухватился за край одного из них: внутри было полутемно и мне показалось, что я вижу край стола. В висках болело, но я успел просу-

нуть вторую руку внутрь и нащупал что-то мягкое, струящееся, оттуда метнулась стайка рыб, и вдруг это «что-то» двинулось ко мне... Я почувствовал ужас: мне показалось, что я держу за волосы женскую голову! Я заработал ногами, ударился виском о край борта, почувствовал боль, ожегшую щеку и локоть, и чуть не потерял сознание, сердце разрывалось. Воздуха, воздуха!..

Как я вынырнул, не помню — все плыло, разноцветные пятна мелькали передо мной, только инстинкт поддерживал меня на воде. Я здорово нахлебался воды, не сразу услышал крики товарищей: оказывается, я плыл от лодки.

Придя в себя, я сказал, что не буду больше пытаться проникнуть в тайны «Эльпидифора», пусть все пропадет пропадом. Потом меня рвало.

Но мы все же вернулись еще раз на это место, запасаясь камнями. Нырял Саша. Он взял с собой и длинную палку. Ему удалось пошарить внутри каюты, но палка сломалась. Никакой женской головы он не видел. «Наверное, это были водоросли», — сказал он.

Гера, много болтавший и оживленно комментировавший наши соображения, нырять отказался. Он притих и сказал, скромно отводя глаза, что вес его слишком легкий и его «дно не держит». «Ну, молчи тогда, — сказал Саша, — молчи и не смей никому рассказывать».

Больше прыгать не удалось — потянул западный теплый ветер, солнце скрылось, вода потемнела. Мы повернули домой, пообещав друг другу завтра, в обстановке полной секретности, встретиться в условленном месте, взяв на этот раз спецприспособление — железную палку с крючком и сетку для камня, чтобы не держать его в руках, а привязывать к поясу.

Нас удивило, что едва мы вышли на курс, обогнув мыс, как увидели лодок десять, державшихся поодаль друг от друга, но шедших в одном направлении, к «Эльпидифору». Мы разом посмотрели на Геру. Он сплюнул и стал внимательно рассматривать свой живот, будто видел его впервые.

Когда мы вытащили «Альбатрос» на берег, я спросил Геру: «Ты клянешься хранить тайну?» — «Как рыба», — хрипло сказал Гера и почему-то провел рукой по горлу, наверное желая этим жестом подчеркнуть, что готов умереть под ножом. Саша вздохнул.

Попрощавшись с Герой, Саша сказал мне: «Помяни мое

слово, он уже нас предал; эти лодки направлялись за сокровищами...»

Саша оказался прав. На следующее утро у Геры «болел живот», и мы поплыли сами с Сашей, но вскоре повернули обратно: за мысом нам открылась жестокая правда насчет Геракловой клятвы.

Армада лодок окружила бедные остатки «Эльпидифора». Добровольцы ныряли десятками, и вся вода на большом пространстве кипела и пенилась под телами энтузиастов легкой добычи.

Долго еще во всех кабачках стоял стон и слезы хохота. Старые рыбаки смеялись над «розыгрышем», который устроили якобы мы с Сашей «этим фрайерам». Так, обманутые Герой, мы неожиданно для себя попали в герои дня.

Ах, городок, городок, ты никогда уже не будешь таким, каким мы тебя знали когда-то! Ты будешь, вероятно, и лучше, просторней, многоэтажней, удобнее для жизни и отдыха приезжающих, но для нас ты никогда уже не повторишься, как не повторимся и мы!

Никогда не услышу я голос старого зазывалы-турка, сонно, но цепко смотревшего сквозь клубы ароматного дыма своей трубки, сидя на венском стуле на тротуаре, напротив лавчонки. Нас, детей, и не надо было зазывать! Как пахли ванильные трубочки, пирожные, только что политые кремом, еще теплые и пышные в его «кофейном зале», то есть под цветным навесом, прямо на тротуаре! А кофе! Кто умел его варить так, как в Анапе? Никто!

А Геронтидис, который продавал мороженое из больших узких запотелых бидонов, обложенных льдом, мороженое всех оттенков — от розового кисловато-свежего фруктового, до сливочного, шоколадного и зеленого фисташкового! Геронтидис стоял у Крепостных ворот в белом смокинге, распоротом в могучих плечах, но в любую погоду — с бабочкой. Рукава смокинга едва доставали до локтей его волосатых рук; белые, в полоску кремового цвета, брюки-клеш, безукоризненные усики и пробор; а когда покупатель внушал ему особое уважение, Геронтидис надевал даже белые перчатки с дыркой, из которой кокетливо торчал мизинец, и не торопясь говорил: «Соблюдайте свой интерес, дамочка, берите большую порцию. Гарантирую натуральный букэт...»

А давяльные аппараты «английской марки», на которых почему-то стоял ярлык Ростова-на-Дону, красного, зазываю-



щего колера! Они возвышались на каждом углу Пушкинской. Вы подходите к толстой веселой продавщице, она жестом фокусника моет стакан под струйкой искусственного фонтанчика, крутит ручку, подставляя одновременно стакан с капельками влаги под белый фарфоровый сосочек. Миг—и зеленый сок с кусочками мякоти струится и пенится: виноградный сок давят на ваших глазах. Вы пьете его — холодный, он туго проскальзывает в горле...

В «Курзале» ежевечерне играл оркестр — моряки, смуглые, в белоснежных форменках, стайками вперевалочку вышагивали за смущенными девушками, которые обязательно держатся за руки, будто боятся, что кого-то из них вот-вот должны похитить. Девушки и говорят и смеются немножко громче, чем они говорили бы и смеялись в другой обстановке; моряки же более равнодушны, чем на самом деле, и немногословны — молодые еще. Парочки в «Курзале» тоже имеют свои места: зелеными террасами, буйно поросшими сиренью, спускается парк к берегу, чтобы вдруг остановиться крутым обрывом. Но и там, под обрывом, слышится приглушенный смех, светится в непроглядной южной ночи папироска. Скалы образуют бухточки и лагуны. Море здесь шепчет что-то, уговаривая берег, нашептаться не может...

Только иногда, словно нехотя, проползет луч прожектора по кромке берега, обнаружив нечеткие тени сидящих между скал, побежит по сонной воде Малой бухты и спрячется за мысом. И снова всезнающее море начинает шептать что-то вечное, настойчивое...

Каким большим показался мне этот день, первый послевоенный день в Анапе! Только к вечеру вернулся я к тете Лизе. Лампа горела на подоконнике, чтобы мне было виднее. Электричество погасло, и тетя стояла на стуле, пытаюсь поправить пробки. Я вошел как раз тогда, когда она ввинтила пробку и свет залил комнату. Лампа еще продолжала гореть, и эти два света — сильный, веселый и тлеющий, чадающий — как бы соревновались. Побеждал сильный и веселый. Я дохнул сверху в стекло лампы, и она погасла.

Тетя, сидя за столом, ласково смотрела на меня. Мы поели мамалыги с молоком и легли: тетя на кровати с никелированными шариками, а я на раскладушке. Мы долго вспоминали общих знакомых, родственников, моего де-душку.

Потом тетя замолчала, и я услышал по ее дыханию, что она спит. Взошла луна. Где-то кричал кот. Потом кто-то шептал и смеялся под нашим окном на улице. Потом стало тихо. Я закрыл глаза и старался представить дедушку. Давно это было.

## МОЙ ДЕДУШКА

Дедушка приехал вечером, когда я спал, а утром, посидев на его коленях, я предложил показать «наше море». Вел я дедушку за руку, очень гордый, что впервые довелось вести взрослого, который все норовил свернуть не туда. Было мне лет шесть, видимо. Наконец мы пришли к морю.

Никого еще не было, кроме женщин, убравших граблями «камку» — морские водоросли, ночью выброшенные во время прилива. Сильно пахло йодом. Мы спустились по пологой тропинке недалеко от порта. Дедушка разделся, и я с любопытством рассматривал невидимый до этого крестик на шнурке. Дедушка перекрестился и пошел в воду. Плавал он хорошо. Купаньем в море остался доволен, а на обратном пути купил мне трубочку с заварным кремом.

Дедушка умел делать разные интересные игрушки из дерева. Он выстругал мне корабль, сделал настоящую саблю. Маме он соорудил маленькие скамеечки специально для варки варенья (мангалы низкие, варенье варится долго, и варили его много).

Вспомнилось: дедушка держит лестницу, которую он только что сделал, а я лезу на крышу сарая. Мне немножко страшно, но я что-то пою тоненьким голоском, чтобы заглушить страх перед высотой, и наконец берусь руками за край черепичной крыши. Наверху иду осторожно. Красная черепица уложена рядами, одна заходит за другую. И вдруг я издаю радостный клич «сиу» (тогда я играл в индейцев): между черепицами лежит мой старый, любимый мяч. Пролетел он два года, я про него забыл, а он нашелся, выцветший на солнце! Но снизу меня просят не отвлекаться — у меня серьезная работа: я принимаю от мамы листы с абрикосами и сливами, разрезанными и развернутыми, как два нуля, соединенные серединками, как бабочка, готовая взлететь. Сейчас абрикосы имеют ярко-оранжевую сердцевинку, а завтра потемнеют от солнца, сморщатся и над ними весь день будут кружиться осы и пчелы. Листы железные — противни

из печки, а также картонные, края которых сшиты нитками и загнуты. Я располагаю листы по всей крыше и, медленно пятясь, ищу лестницу, долго шарю ногой, нахожу перекладину, спускаюсь. Ноги чуть-чуть дрожат. Руки липкие.

Помню, что, когда мне попадало, дедушка всегда мягко просил маму не сердиться на «дытыну».

Где-то, с размывами памяти, помню и мою поездку на Украину, когда мы с мамой и папой «возвращали» дедушку (он был тогда первый раз у нас в гостях, а потом приехал уже насовсем, умирать...).

Ночь, первое впечатление от паровоза — огни, пар, закрывший вагоны, гудки и огни, бродившие по пахнувшим краской доскам купе; сквозь сон — лязг буферов, свистки, невнятный говор человека с фонарем, в котором горела свечка, огромная его тень, зябкость оттого, что спал полуодетым, покачивание поезда и тепло от солнца, разбудившего утром, радость от сидения на столике, прохлады стекла, за которым бежали яркие перелески, грохот на мосту, синь реки, вербы, голос отца, растроганный и потеплевший: «Боже мой, Украина...»

Помню дорогу в Диканьку — сено под боком, звезды, которые дрожали сквозь слипающиеся ресницы, запах лошадей, свежий и бодрящий, крик ночной птицы, лес, неожиданно надвинувшийся ночью и так же неожиданно оставшийся позади, запах дыма, лай собак, улица, обсаженная тополями, сонная суматоха во дворе, огни, один за другим вспыхивающие в хате, сон на лавке под овчинным тулупом («Бо дытына намерзлась, бидна»), смех мамы в другой комнате, откуда падала полоска света сквозь не плотно прикрытую дверь, и голоса — знакомые и незнакомые... А утром запах свежееиспеченного хлеба — «паляныци», которую бабушка, кругленькая, розовенькая, как паляныця, доставала ухватом из печи; вышитые полотенца над образами, строгими и темными; лампадка, светившаяся малиновым огоньком; лохматый Полкан, добрый, как все вокруг, и «старый, старый, як дид сивый»; парное молоко в глиняном «глечике»; кружки с цветочками и мята на полу, от которой щиплет в носу и хочется чихать...

У дедушки было много медалей. Он доставал их из сундука и тер песком до блеска. При этом он становился строгим и спина у него была прямая.

— Та-а-а,— бабушка махала рукой в его сторону,— рассився, старый! Выпить захотилось?

Она связывала смотрины регалий с серьезной выпивкой. Чутье у нее было безошибочным.

Когда дедушка выпивал, он не буянил, не терял дара речи. Наоборот, он становился философом и рассуждал на общие темы. Трезвый только улыбался в белые усы свои и что-нибудь делал. Руки у него были золотые. Но об этом я уже говорил.

Когда я жил (недолго, к сожалению) в Диканьке, мы спали с дедушкой в шалаше на бахче. Брал он меня и на пасеку, но оставлял у старого дуба на опушке леса. Я наблюдал издали, как роится улей, как дедушка в сетке, накинутой на голову, вынимает летки, чистит пчелиные аккуратные домики, в которых впору бы жить гномикам. Мы ходили с ним и на ярмарку, и дедушка все мне объяснял: что пахнет «дегтем», что баба голосит не потому, что ссорится с дяденькой, а потому, что «побыла глечики», что «черевишки — гарнесенки», но «панска обувка — сапоги на ранту» и т. д.

Потом он непременно покупал мне петушка на палочке и пряник, который едят с гречишным медом, не то пекут на гречишном меду... Возвращались с ярмарки вечером при звездах, и я лежал на сене, а дедушка курил люльку и пел, не разжимая рта, так что получалось: «Ум-ум-умумуу-уму-у-у...»

Сладко, сладко пахло сено.

А потом бабушка с дедушкой — оба — в Анапе. И у бабушки опухли ноги, она лежит.

А дедушка тихо и незаметно умирает. Позвал маму, улыбнулся, погладил руку, сказал: «Спасибо, донечку. Боричку уведить, хай вин не баче...» Мама заплакала, а он перекрестил ее и попросил свечку в руку. «Как уснул», — вспоминала потом мама. Вслед за ним умерла и бабушка. Так же тихо и просветленно, будто переезжала на новое место.

Дедушка был бахчевик и незадолго до смерти принес с базара большой красивый арбуз. Так мы его и не успели попробовать. В два дня дедушки не стало. А я арбуз этот выкатил из погреба и почему-то разбил о камни. И потекла светлая арбузная кровь. Может быть, потому, что запомнились слова отца: «Не надо было ему разрешать такую тяжесть подымать с его сердцем».

Похоронили мы стариков рядом, как они просили.

## «ПОРА КОНЧАТЬ ВОСПОМИНАНИЯ...»

Так мне сказал мой школьный товарищ Гога, когда мы с ним встретились в Анапе после войны. Он провожал меня на станцию вместе с тетей Лизой и говорил, что теперь мы начинаем новую жизнь и, значит, надо думать о будущем. Я тоже так считаю. Но нет-нет и задумаешься о прошлом. Там все, все начала.

Передо мною дневник Саши и его карточка. Кажется, что она светится в ночной темноте. Шумит холодное Балтийское море. Шумят за окном сосны.

«Пора кончать воспоминания...»

А я только начинаю. Опять, по второму кругу, перечитываю грудку листов, спасенный дневник моего друга.

Когда-то прочитал я стихотворение Анны Ахматовой о человеческой памяти. Там говорится, что, мол, даже близкого тебе человека время делает медленно, но постепенно чужим. Если он умер. Ну, может, я и огрубляю, но только чуть-чуть. Сначала в этот дом памяти ходишь часто, потом все реже, а потом, через много лет, даже страшно и не хочется идти туда, так как, мол, все там настолько чужое тебе, что и не верится: неужели ты жил в этом доме? Помню, я очень рассердился на Ахматову за это стихотворение. Я назвал его отступничеством и предательством. Но проходят годы, и что-то подобное происходит с моей памятью о друге. Что-то постепенно стирается, я теряю почву под ногами, силуюсь чувствовать то же самое, что чувствовал четверть века назад, когда закончилась для меня война, но чувства «предали» меня... Что же это? Может быть, я возмутился тогда стихами поэта именно потому, что он и обо мне сказал правду?

Может быть, восстанавливая образ Саши, я пытаюсь опровергнуть какой-то жестокий закон жизни?

А может быть, зрелый человек не хочет уходить от того, что навсегда остается для него самым прекрасным и полным надежд — от детства? И, протестуя против времени, удаляющего его от детства, он цепляется за любой повод?

Наверное, и это, и многое другое стоит за моим упорным желанием восстановить жизнь моего друга, его судьбу. Наши судьбы.

Что мы знаем о человеке, который живет рядом? Нам кажется, что мы знаем все. А это — другая планета. Мы смело и решительно вторгаемся в чужую душу, меряя ее своими мерками (ведь другие мерки нам не даны!), мы мыслим боль-

шими категориями, многими душами, как одной душой... А тут — и того сложнее. Саша мертв, и не может сказать: стойте, остановитесь, ради бога! Вы все равно поймете все так, как вы понимаете, а не так, как понимал я! Остановитесь! И я словно слышу Сашин голос.

Я посмотрел на часы. Они показывали четверть пятого. Стихло Балтийское море. Окно стало зеленым. Ветер уже не налетал на верхушки сосен. Они застыли в каком-то напряженном ожидании. Я достал из тумбочки пачку, перевязанную серым шпагатом, откинулся на подушку, придвинул лампу.

Я разорвал шпагат, развернул плотную обертку.

На листке в фиолетовую клетку бледные, размытые строки — чернильный карандаш.

Как с того света... Я держу в руках потертую пачку листов, тронутых огнем, молью, а еще больше временем — необъяснимым запахом тления, которым трчено все, что живет дольше, чем живет хозяин.

*27 июня 1941. АНАПА*

«Вначале было слово». А я думаю иначе. Вначале была Война. С нее начинается все. До этого я жил неосмысленно, хотя много читал. Теперь я стал сразу взрослым. Я хотел учиться в консерватории и в ИФЛИ. Писатель Р., который отдыхал в Анапе, сказал о моих рассказах такое, что мне стыдно даже писать в дневнике... «Откуда у вас эта рукопись? У него громадное будущее, у Вашего друга! Познакомьте меня обязательно». А я сказал, что друг живет в другом городе. Это было 21 июня. Несколько дней назад, а как будто в прошлом веке.

Вчера я проводил Бориса. Он тоже стал другой. Не такой легкомысленный. Когда его остригли под машинку, мне даже жалко его стало: такой он был не похожий на себя, неуверенный какой-то. Конечно, он виду не показывал, даже дурачился. Мы пили вино, потом катались с ним и Костей на лодке. Борис стал дразнить Костю, что его не возьмут в армию, тот очень расстроился. Мне было неловко за Бориса. У меня нет более близкого человека, чем он, но иногда он меня обижает своей

нечуткостью и прямолинейностью. А чаще он добрый, милый, веселый. Только все-таки легкомысленный. Не знаешь, что он выкинет.

Он ушел на смерть, а я сижу здесь и грызу локти. К Лене идти страшно. И вообще все запуталось...

Когда мы сидели на берегу у нашей пещеры, Боря сказал грубость: «Ну, теперь ты один... Тебе и карты в руки». Как он мог так сказать? Тем более, я не могу теперь пойти к Ивановым. И потом — он все время влюбляется. Если бы он не был мне другом, я бы его возненавидел за такую несерьезность. А так — все как-то прощаешь. Хотя прощать, конечно, нельзя. Не понимаю я этого. Летом он возле Лены. Не отходит. Смирный какой-то при ней. А уедет она, каждый год в кого-то влюблен. Делает глупости невероятные...

### **«ГЛУПОСТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ»**

Дальше запись была оборвана. Я был несколько смущен таким началом. Неужели я производил такое впечатление на Сашу? Какой же я был на самом деле? Глупости невероятные... Может быть, это? Мы учились в восьмом классе. Был уже конец сентября, но жара стояла июльская, и мы изнемогали на уроках. Окна на нашем четвертом этаже были открыты. На перемене по длинному коридору прогуливались старшеклассницы. И среди них Кира из 10 «А». Я был влюблен в нее уже вторую неделю, но как я ни вертелся перед ней, что бы я ни предпринимал, лишь бы привлечь ее внимание, она словно бы смотрела сквозь меня. Я не скажу, что делала она это с умыслом, просто ей как-то не приходило в голову посмотреть на меня внимательно, отметить хотя бы про себя, что мальчик, который вчера принял мяч на волейбольной площадке так, что пролетел три метра ласточкой и отбил мяч у самых ее ног (удивительно стройных ножек в узеньких туфельках!), был тот самый, что позавчера, как бы случайно, зашел в 10 «А» на руках, чем вызвал восторг и визг всех девочек, кроме Киры, которая лишь на минуту оторвалась от книги и снова с равнодушным видом уставилась в страницы учебника. И вот в этот душный день, встретив Киру на перемене и покраснев, я совсем ошалел. Между группой девочек и мной было небольшое пространство. Оно



сокращалось, Кира могла пройти мимо, и я судорожно осмотрелся. Надо было сделать что-то необыкновенное. Сейчас, или никогда. И я вскочил на подоконник. Слева внизу гомонил двор. Краем глаза я видел, что мой рискованный шаг не остался незамеченным. И я... шагнул на карниз и медленно пошел по нему, придерживаясь правой рукой за кирпичи кладки. Шум во дворе стихал. Не глядя, я знал, что свидетелем моего подвига стала уже вся школа. До следующего окна я дошел благополучно, хотя ноги начинали дрожать. Однако переступить левой ногой так, чтобы она встала в проеме окна, оказалось делом необыкновенно трудным: малейшая потеря равновесия — и я полетел бы на гладкий, утрамбованный сотнями ног двор. До сих пор помню, как у меня звенело в голове, как тошнота подступала к горлу и потемнело в глазах. Руки стали потными, солнце нещадно палило голову, а я стоял, казалось, целую вечность, уже раскаиваясь в своем поступке. Мертвая тишина сменилась ропотом и нарастающим шумом.

«Надо принести простыню», — говорил кто-то.

«А где Сашка?» — Ребята знали, что мой друг не мог оставить меня в беде.

«Он побежал на этаж». — Это голос Флоры, нашей соученицы. В прошлом году я был влюблен в нее. И мне подумалось, что ее голосом сказала сама судьба... Кира, Кира!

Саша уже протягивал руку, стоя на подоконнике. Я осторожно взял ее левой рукой и, стоя лицом к стене, прижимаясь носом и щекой к горячему и шершавому кирпичу, стал передвигаться по карнизу... Когда я соскочил в коридор, там было полшколы. Директор молча показал мне на дверь своего кабинета. Под стенгазетой стояло два стула. На одном из них сидел мой кумир и читал книжку. На мгновение Кира оторвала взгляд от страницы и, придерживая пальцем то место, где остановилась, спросила, зевая: «Это тот самый дурак?» Кто-то ответил ей, что тот самый.

А может быть, Саша имел в виду другой случай? В октябре у нас еще тепло. Уроки физкультуры мы проводим на пляже. Мы бегаем, прыгаем в длину, играем в ручной мяч и, разумеется, плаваем. Это было в седьмом, когда толстенная Флора, в черненьком купальничке, морща курносый носик и кокетливо хохоча, убегала от меня в воду. Наш физкультурник — волосатый верзила армянин, по прозвищу Хачик-держи-нос, ибо он был обладателем уникального «сморкательного аппарата», — учил нас плавать «стилем».

Хачик плавать не умел, он приехал из горной Армении, потому что у его тещи был костный туберкулез и врачи советовали анапский песок. Но теорию Хачик знал хорошо. Он заставил нас, а потом девочек лечь на песок в ряд и отрабатывать движения. Нам, черноморцам, это было весело! Потом мы побежали в воду и стали на старт. Штрафники стояли по плечи в воде и держали ленточки старта и финиша. Шла стометровка. Я плыл в паре с Флорой, для которой делалось исключение — она всегда плавала с мужской группой. Когда мы вынырнули из буруна поднятой пены у финиша, где стоял Васька Губан, закоренелый второгодник и задира, оказалось, что Флора на полкорпуса опередила меня. Васька держал секундомер в вытянутой руке и нахально улыбался, подмигивая посиневшей рожей. Это был позор. Неужели отдельные занятия Хачика, которые он проводил с Флорой после уроков на пляже, пошли ей на пользу? Я попросил повторить заплыв. Хачик снисходительно согласился. И здесь произошло нечто непредвиденное. Когда мы стояли на старте и ждали, пока Хачик махнет рукой, Флора сказала: «Нырнем мимо Васьки и пройдем под водой до шлюпки, видишь, на якоре? Мне надоед этот Хачик». Я молчал, не веря своим ушам. Оторваться — это было то, о чем я мечтал, не зная, как это сделать. «Или слабó?» — Флора смешно наморщила носик и поправила прядку рыжих волос под шапочку. «Идет», — сказал я. Когда до Васьки оставалось метра четыре, я нырнул. Под водой неподалеку от себя я увидел толстые ножки Флоры. Красиво работала! Я шел за ней, не рискуя выйти на поверхность первым. Мимо ее тела, из-под рук, плавно расходящихся и сходящихся, проплыла стайка мальков, потом я увидел тень от лодки, якорную цепь и светлые пяточки Флоры у самого носа. Я протянул руку и нечаянно коснулся ее ноги. Она была очень гладкая и холодная. Меня ударило током, как будто это был скат, а не курноса Флорка, которая мне почему-то нравилась. Когда мы оказались по ту сторону шлюпки и, держась за борт, смотрели друг на друга, тяжело дыша, Флора сказала:

«А ты хорошо ныряешь».

Лицо ее, круглое, с рыжими веснушками и мокрыми толстыми губами, сияло, ямочки на щеках дрожали, в карих глазах сверкали звездочки. Звездочки были совсем рядом.

Вдруг мы услышали истерические крики Хачика:

«Спаситель! Спаситель!»

Флора прыснула со смеха. Лодка заколыхалась, и со дна ее поднялся Гога-спасатель. Голова его была завязана выцветшим красным платком.

«Гога, без паники», — сказал я. Он был мой приятель.

Гога встал на ноги и сонно посмотрел на меня. В его взоре была нега. Потом он перевел свои полузакрытые очи на Флору и представился:

«Гога. Будем знакомы».

Флора кокетливо хихикнула. Мой друг взял в руки мегафон и, подморгнув мне, повернулся в сторону берега.

«Эй, на берегу! Что случилось?»

«Утонили! Утонили!» — надрывался Хачик.

Я не выдержал и выглянул из-за кормы. Хачик стоял в воде по пояс. Он был в соломенной шляпе и размахивал полотенцем. Вокруг него ныряли ребята.

«Спокойно! — гаркнул Гога-спасатель и тихо предложил: — Сейчас будет маленький цирк и я заработаю медаль. Шухер! Плывите аккуратно, чтоб вас никакая собака не заметила».

Гога стремительно выбрал якорь и налег на весла. Мы, держась за край борта, скользили со стороны открытого моря. Потом спасатель остановился и, сложив весла, нырнул. Он проплыл мимо нас, нырнул еще два раза и залез в лодку. Хачик надрывался по-прежнему. Гога еще подгрел и снова нырнул.

«Пора? — спросил он меня. — А то твоя барышня синяя».

Флора не могла унять икоту, но продолжала смеяться. Вдруг мы заметили, что лодку относит и нас могут увидеть. Мы снова нырнули. Но едва я показался на поверхности, как Гога стукнул меня по голове и погрузил в воду. Я успел заметить, что он «спасает» Флору, так как он держал ее за волосы, сорвав шапочку. Я нырнул возле шлюпки и тут же почувствовал, что и меня кто-то ухватил за вихры. Глоток воздуха был мне сейчас необходимей любви к Флоре. Но в пене, поднятой спасателем Гогой, я увидел Ваську Губана и Сашу, которые, заметив меня, рванулись наперерез Гоге. Тот боролся за приоритет отчаянно. Втроем они вполне успешно могли отправить меня на тот свет, так как каждый хотел прийти на помощь раньше другого.

Короче говоря, меня откачивали уже на берегу. Первым, кого я увидел, был Хачик, точнее, его все еще дрожащий от страха живот. Любопытные расступились, я сел и сквозь зеленый туман увидел Флору. Она смотрела на меня широко

раскрытыми глазами, в которых были слезы. Я был счастлив. Хачик-держи-нос шумно высморкался и сказал:

«Флора, ты останешься после уроков. Придется подрабатывать прием спасания».

«Глупости невероятные...»

Итак, я был легкомысленным. Интересно, как бы сегодня вспоминал эти «глупости» Саша? Неужели он навсегда остался бы таким же рассудительно-неуязвимым?

## «СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК»

Сколько помнил Сашу, он читал книги. Читал за завтраком, когда я заходил за ним в школу, по дороге рассказывал мне прочитанное, на уроках умудрялся читать, держа книгу под партой или прислонив ее к спине Васьки Губана. Тот странно терпеливо относился к этой причуде Саши. На переменах, когда мы гоняли мяч или играли «в отмерного», прыгая друг через друга и отмеряя длину прыжка носком ботинка, отчего носы наших башмаков всегда были ободраны, Саша читал книгу, примостившись на заборе, как нахохлившаяся птица. Он читал даже тогда, когда мы просили его посудить в волейболе. Он сидел на заборе со свистком в зубах и, перелистывая страницы, точно вел счет. Юлий Цезарь, и только!

Был он молчаливым и застенчивым.

Учился так неровно, что учителя диву давались: то поражал неожиданным красноречием и знаниями, которые порой смущали преподавателей, слыхом не слыхавших о новых открытиях в астрономии или физике, то, начав решать задачу, оставлял страницу почти пустой и бледный, с отсутствующим, равнодушным выражением лица сидел, подперев голову рукой. И ничего при этом он не творил, а просто находило на него что-то, что — он и сам не мог объяснить даже мне, лучшему другу.

В пятом классе он увлекся рисованием; в седьмом был лучшим химиком, ходил в прожженной кислотой куртке; в десятом все думали, что он будет астрономом. Но самое удивительное было в том, что к литературе он относился вовсе странно. Уроков не учил. Не понимал самых простых вопросов, сочинения писал так, чтобы от него отвязались: каким-то суконным языком. Правда, в младших классах учителя

хвалили его за выдумку, яркие сравнения, неожиданность фантазии, особенно когда писали рассказы по картинкам. Но раза два его высмеял учитель, кажется, это было в пятом классе, и Саша переменялся: мыслей своих не высказывая, повторял как попугай, что слышал от учителя, и сам морщился. Он даже вздыхал облегченно после ответа, так ему было неприятно все, что касалось литературы. О том, что литература была его подлинной страстью, о том, что Саша сочинял музыку и любил ее, мы узнали случайно.

Как сейчас помню этот день. Васька Губан сидел с противным мальчиком, которого мы все не любили. Фамилия его была Коломейцев. Он был маленький, вертлявый, с ушами как лопухи. Смеялся он неестественно, суетился, всем делал гадости, а потом божился, что последний раз. И прозвище ему дали поэтому «гад буду». Так вот, этот Коломейцев выкрал из портфеля Сашин дневник и на перемене, встав на парту, громко зачитал что-то о сонате, которую написал Саша, и плане повести. Мы не сразу поняли, о ком и о чем идет речь, и спохватились только тогда, когда Саша, бледный, с перекошенным лицом, бросился на Коломейцева. Саша не умел драться, но тогда мы едва его оттащили. Коломейцев был растерзан и вывалян в пыли, лицо его было расцарапано; он тер шею и всхлипывал, а Саша с блуждающими глазами все порывался к нему. Потом Саша потерял сознание. И я долго ждал его возле учительской, где он лежал на диване. Вызвали врача. К вечеру у него поднялась температура и лицо покрылось красными пятнами. Болел он что-то около недели, а когда пришел в школу, его нельзя было узнать — так осунулся. На что уж мы были жестокими, но все делали вид, будто ничего не случилось. Коломейцева «подготовил» Васька Губан. Накануне возвращения Саши он поманил Коломейцева пальцем и без предупреждения отправил в нокаут. Потом поднял, поставил на ноги и велел хорошо запомнить «разницу между вертикальным и горизонтальным положением человека». Коломейцев запомнил. Он деловито взял промокашку и приложил ее к разбитому носу. А Васька, на которого почему-то произвело неизгладимое впечатление то, как Саша отстаивал свою честь, стал чем-то вроде постоянного и неназойливого Сашиного адъютанта — ходил за ним по пятам в некотором отдалении, но при первой опасности был тут как тут.

Взрослые называли Сашу странным мальчиком. Он был очень замкнутым. Друзей у него, кроме меня, не было, но

все относились к Саше с уважением. После того случая с дневником мы долго смущались, когда он появлялся среди нас, немного загибая левую ногу, сутулясь и сверля нас удивительным взглядом своих темных серьезных глаз. Он был близорук и всегда щурился. Смеялся он как-то неумело, коротко, словно спохватившись, мгновенно прерывал смех, и лицо его становилось розовым. Вообще он легко краснел, часто смущался. Но нельзя сказать, чтобы он был оторван от нас. Во всех почти наших затеях и играх он принимал участие, но делал это будто по обязанности, без азарта. И всегда старался держаться незаметно.

Я привык к его странностям и чудачествам давно, и мне это не мешало. Я чувствовал и то, как он любит меня. Не знаю даже за что. Но дня не проходило, чтобы мы не видели друг друга. Была одна загадка в поведении Саши. Почему он скрывал от меня, что писал рассказы, сочинял музыку? Почему он никогда не признался мне — ведь у нас не было тайн друг от друга? Все больше я склоняюсь к мысли, что главное препятствие для Сашиного самолюбия было то, что *меня* считали будущим писателем.

Сам я об этом не думал, вообще серьезность не была моей сильной стороной. Я сочинял пьески о шпионах, в школе их ставили, но мне нравились не сами пьесы, я тут же забывал их, а то торжественное настроение, тот холодок в груди, когда накануне утренника в коридоре школы прибывали плакат с объявлением. Мне нравилось видеть свою фамилию на афише. Когда я сочинял следующую пьеску о пионерах, которые разоблачают очередного шпиона, я сначала представлял себе, эффектно ли будет выглядеть название, написанное чертежным пером на оборотной стороне контурной карты. Пьесу ставили, я сам играл главную роль, придирчиво следя, чтобы в гриме я выглядел старше и мужественнее, а когда после выстрела из деревянного пистолета, торопясь упасть одновременно с ударом доски за кулисами, я лежал на пыльном полу, то думал лишь о том, как после спектакля будут блестеть глаза у худенькой осетиночки из параллельного «Б», за которой я следил краем глаза и во время спектакля. Мне нравилось нравиться — так бы я определил свою тягу к искусству, если уж быть до конца правдивым.

Так вот, я думаю, Саша или не понимал, что моя «слава» — липовая, или же понимал, но считал, что, выйди он в центр внимания, это было бы не по-товарищески.

Как бы там ни было, а Саша был странный мальчик.

Он жил в каком-то своем мире. Мире красивых снов и фантазий. Мне было недосуг читать многое из того, что уже пересказывал мне Саша. А слушать его рассказы о прочитанном я любил. У него получалось так, будто все это с ним самим случилось. И рисовал он обстановку точными словами и жестами, переноса и меня в свой мир, населенный благородными и смелыми людьми. Иногда я ловил Сашу на том, что он переиначивает книги или фильмы, которые и я знал. Но каждый раз получалось так, что либо я не понял, либо не заметил какой-то детали, а он, Саша, именно в ней и видел суть дела. Позже я научился не прерывать его, получая даже особое удовольствие от того несоответствия, которое получалось между виденным или слышанным и тем, как его подавал в рассказе Саша.

Обычно мы сидели вечером при луне в нашем саду на теплом, нагретом за день большим плоском камне, лежавшем под забором. Камень был белый, а сад темный и таинственный. Иногда мы слышали, как шумит море.

Я почувствовал, как горько мне вспоминать то время, как не хватает мне Сашиного плеча — теплого плеча в белой, застиранной рубашке с заштопанным локтем, теплого белого камня, свежести притаившегося сада, шума моря, Сашиного хриплого, чуть приглушенного шепота.

*13 сентября 1941*

Вот уже три дня и три ночи, как мы с мамой ночуем не дома. У соседей в сарае. Дома нет. Ничего нет. Воет Тобик — худой, еще более черный. Луна большая, красная. Развалины черные.

И по ним не угадать, какой был дом. И он кажется чужим домом.

Страшное сравнение, но я вспомнил, как мы всей школой хоронили Толю Р. Он лежал в гробу как живой, пока мы, прощаясь, подходили к нему, еще разгоряченные, еще с улицы, где все было жизнью. Но там, на кладбище, когда кто-то шепнул мне, чтоб я помог подать крышку и я поневоле глянул на Толино лицо, меня поразила произошедшая перемена — это был совсем другой человек, чужой мне! Я шел домой и думал об этом, лежал в кровати и думал об этом.

И сегодня вечером, когда взошла луна, я понял, что это свойство всего, что умирает, — становиться чужим.

Может быть, и этим жизнь борется со смертью? Само-защита...

Но ты, Лена... На войне я понял, что любовь моя выдумана, вычитана из книг. Она держалась на моей фантазии и ожидании будущей настоящей любви, думать о которой я боюсь.

Пусть луна делает эти развалины чужими. Пусть война отодвинула и в новом свете представила мне мою любовь. Завтра взойдет солнце и мой дом предстанет мне таким, каким я запомню его на всю жизнь, и он будет сниться мне до старости (если я доживу до старости). Разве образ дома станет чужим? Никогда.

Образ живее жизни—вот что я хочу сказать. И любовь моя, рожденная во мне самом, останется живой навсегда, потому что не Лена и не кто-нибудь иной, а образ моей любви будет жить во мне, наполняясь разными лицами, пока не найдет ту, ожидая которую я так волнуюсь.

Это место дневника я перечитал дважды. Значит, между мною сегодняшним и тем, совсем юным, Сашей была какая-то глубокая связь: мы оба, только в разном возрасте, задумывались над этой тайной памяти, которая сродни... измене?

14 сентября

Конечно, это глупости, но мне кажется, что образ жил до меня, *мой образ*, а я нашел его так, как когда-нибудь найду любимую женщину. Но кто нарисовал мне так отчетливо то, что я люблю?

Я говорю не о цвете волос и не о линии носа, а о чем-то едва уловимом. Недавно в порту, где грузились солдаты, я увидел девушку в шинели и аккуратных сапожках. Пилотка сидела на ее голове лихо. Я видел ее всего секунду. И помню только родинку на щеке, белые зубы, да челку темного цвета, да походку, когда она, поправляя ремень, быстро пошла вверх по сходням, а я не могу ее забыть до сих пор, и встает она передо мной как живая.

Я гоню это наваждение: стоит распусться, дать видению обрести еще несколько привычек и жестов, и я пропал — она оживет, как статуя в руках Пигмалиона.



А если она займет то место в моей душе, которое, хотя и спокойно, все спокойнее, занимает Лена?

Вообще я боюсь наваждений образа, который не поддается регулировке. Иначе все перепутается, и люди перестанут отличать явь от фантазии и снов. Наверное, я просто много думаю. Надо отвлекаться делом. Сейчас мне редко выпадают такие часы, когда можно до конца додумать что-то или дорисовать образ. Но достаточно просто освободить внимание, как наплывает это...

3 октября

Позавчера убило маму.

5 октября

Люди приходят, говорят, уходят. Самое ужасное, что я могу есть...

9 октября

На ее могиле нашел Тобика. Он вилял хвостом и скулил. Я, наверное, сойду с ума.

10 октября

Записался в команду добровольческого катера связи. Завтра идем в Крым.

## ТЕТЯ ГАНКА

Сашину маму все звали Ганка.

Тетя Лиза написала мне, как ее убили. Она пошла за хлебом. Когда налетели «юнкеры», люди стояли вдоль каменной стены Греческого переулка. Продавщица ушла в убежище, но люди остались до отбоя на улице — слишком долго они ждали, пока привезут хлеб. Никто не хотел терять очереди.

Немецкий летчик дважды прошел на бреющем. Люди прижались к забору. Тень от него едва прикрывала их. В третий заход летчик нажал на гашетку...

Когда продавщица открыла зеленый ставень, люди лежали строго по порядку. Тетя Ганка лежала первой, протя-

нув руку к окошку. На бледной ладони четко было написано чернильным послушавленным карандашом «8». Первые, вероятно, не были на переключке, и тетя Ганка радовалась, что ей достанутся и круглые булочки из желтой кукурузной муки, не только черный хлеб.

Тетя Лиза писала о себе, что ее спас случай — она вернулась с полдороги, вспомнила, что не погасила примус.

В этот же день, часов в пять, разбомбили и наш дом.

К вечеру он догорел.

Вещи, оставшиеся после огня, перенесли в сарай. Тете помогали Костя и Зина.

У обгоревшей акации Костя нашел маленький кинжал в серебряной оправе...

Следующая страница была написана на листке из большой бухгалтерской книги.

*10 октября (ночь)*

Мы с Тобиком перешли к тете Бориса. У меня еще несколько суток свободных. Наш катер чинят. Пробойна большая. Дней на пять. Тетя Лиза все плачет, рассказывает мне, как бомбой разнесло дом Сторчинских. Боря ничего еще не знает. Я не пошел посмотреть развалины. Утром — опять налет. Тобик стал выть до сирены — ученый пес, он научился различать немецкие самолеты от наших. Перед налетом он волнуется и тащит меня в убежище за штаны, сердится, если я сопротивляюсь. Надо найти Бориса. Он не отвечает на письма. Лена в Куйбышеве.

Я слушал рассказ тети Лизы о детстве Бориса. И понемногу стали прорисовываться картины и звуки и запахи моего детства. Странно. Я впервые вспомнил то, что никогда не вспоминал, что будто само жило во мне, но я боюсь лжи моей памяти: а что, если этого не было, если картины эти навеяны чужими воспоминаниями и запали в душу вечерами, когда мама перед сном любила рассказывать мне вместо сказок живые истории своей юности, своего детства? Но воспоминания окружили меня, я почувствовал непонятное волнение, предвкушение чего-то... Я знаю, что в таких случаях образы действуют так же, как (по рассказам) действует опиум. Бороться с этим безнадежно.

Я выпил стакан козьего молока и, пожелав тете Лизе приятных сновидений, пошел в сарай, доверху наби-

тый душистым сеном. Закутавшись в украинское рядно, долго слушал, как кричит сонный петух. Светлел от луны двор, белый, словно его присыпали мукой. Затрещали цикады в саду. Постепенно все более дурманяще пахла трава, еще не ставшая сеном, но уже не живая.

Тобик заснул во сне. Я лежал наверху, почти у потолка. Он устроился внизу, разгребая зачем-то сено, почти на земле. Интересно, что ему снится? Когда-нибудь наука будет расшифровывать наши сны, а может быть, и видеть.

Мне не спалось. Я думал о маме.

Труднее всего забыть о ней. Никогда не смогу забыть ее.

Я отложил дневник Саши и постарался вспомнить его мать. Она была рослая, сильная и красивая украинка. Хотя я был ребенком, мне всегда почти стыдно было смотреть в ее глаза — они были мерцающе красивы, всегда хотелось скорее отвести взгляд, казалось, что-то нехорошее было в том, что мне нравится смотреть на нее. Она знала это и нарочно смотрела на меня и смеялась, теребя мой чуб.

Жили они бедно. Саша ходил в застиранной рубашке, коротких брюках — рос он быстро, а купить новое не было средств.

Тетя Ганка носила девичью фамилию, и Сашу записала в школу под своей. Отец оставил их давно. Он жил в Москве. Был большим начальником, «винным царем». Мой отец встречался с ним по делам службы и говорил, что это очень заносчивый красавец с седыми висками и военной выправкой. Мы его никогда не видели в Анапе.

Тетя Ганка работала в детском санатории военного округа под смешным названием «СКВО». Саша говорил, что там живут дети индейцев, потому что «скво» по-индейски — «женщина». Забор был большой, беленный известкой. За ним действительно слышались крики и кличи, в воздух взлетали стрелы, но дети не показывались. «У них карантин», — сказала тетя Ганка. Их не выпускали из-за высоких белых стен, и мы, помню, почти поверили в их индейское происхождение. А непонятное слово «карантин» звучало как имя.

О, как мы смеялись, когда увидели маленьких человечков в белых панамках, с горном, когда их наконец выпустили на пляж! Но тогда и нам-то было немногим больше восьми.

Тетя Ганка была санитарка: мыла полы, носила горшки, убирала в палатах.

Саша ходил с судками за обедом и стоял в очереди под солнцем к окошку, откуда хорошо пахло и несло жаром. Я ходил за компанию.

Однажды Саша плашмя упал на камни и разлил суп. Его очень ругали прохожие, которых он облил горячим супом, но потом перестали ругать и долго суетились вокруг него — оказывается, у Саши был обморок. Какая-то женщина купила три стакана сельтерской и поливала голову Саши. Она так растерялась, что на вопрос продавщицы: «С сиропом?» — ответила утвердительно, и Сашина физиономия стала липко розовой, и над ним долго вислась оса, пока мы отсиживались в тени Турецких ворот на старой пушке.

Будучи уже старшекласником, Саша дважды падал в обморок; он рос стремительно и у него часто шла носом кровь. Тогда он задира голову к небу и стоял так или лежал на спине и рассказывал мне что-нибудь интересное — он уже привык к этой своей болезни.

Однажды, уже в девятом классе, Саша увидел своего отца. Случилось это так. Саша нередко обедал у нас. Мы учили уроки, и моя мама, чтобы не смущать Сашу, каждый раз как бы спохватывалась: «Боже мой! Да мне же пора на педсовет! Быстро! Собирайте со стола книги! Накормлю вас и пойду...» Она была очень находчива, и Саша никогда не успевал удрать, только смущенно хлопал своими длинными ресницами.

Однажды во время обеда мама встала и непривычно дрожащим голосом сказала: «Саша, прости, а если бы сейчас вошел твой отец? Что бы ты сделал?» Саша положил ложку и побледнел. Незадолго до того, вечером, мама говорила, что я еще ничего не понимаю; что тетя Ганка, хотя и добрая женщина-труженица, неправа, с детства воспитывая ненависть к отцу у Саши; что Саша когда-нибудь разберется в семейной драме; что это не мое дело, что там произошло, посторонним в это лезть нечего, а Саше гораздо легче, если он наладит отношения с отцом, так как Александр Янович без памяти любит Сашу и страдает, не видя его. Когда мама спросила Сашу, что он сделает, Саша вспыхнул и сказал: «Я повернусь и уйду!»

Но он не повернулся и не ушел. Я долго буду помнить тот вечер, когда мы сидели вместе — я, мама, папа, Александр Янович и Саша. А когда Саша и его отец ушли, мама долго

растроганно всхлипывала и повторяла: «Ой, как же я боялась, что он встанет и уйдет!» — а отец сопел носом и отводил свои добрые глаза.

С тех пор Саша, продолжая быть очень нежным и заботливым с матерью, нетерпеливо ждал каждого приезда отца. Он гордился отцом, любил его и весь светился, когда мама говорила ему нарочно обиденным голосом: «Саша, приходи сегодня к пяти, Александр Янович звонил на завод — будет». Отец Саши приезжал на машине. Это был черный блестящий «линкольн» с металлической гончей на капоте. Обычно мы все садились в машину и уезжали по живописной дороге в ущелье против острова Утриш.

12 октября

Когда я вспоминаю маму, мне хочется запоздало просить у нее прощения за обман, которого она не заслужила. Я думал, что та поездка в ущелье открыла ей глаза на наши встречи с отцом.

Это было осенью, во время сбора винограда. Сиделось солнце, мы возвращались домой. Дул легкий ветерок. Отец дал мне руль, и я, задыхаясь от счастья и благодарности, любил в те минуты все: и убегающие с двух сторон виноградники, и запах «изабеллы», пряный и сладковатый, — им был пропитан весь воздух до розовато-фиолетового горизонта; любил дорогу, бегущую мне навстречу, мягко, как во сне, покачивающиеся рессоры, мерное рокотание мотора и руку отца, большую и спокойную, у меня на плече, и его доверие ко мне, и наши разговоры на берегу о моем будущем, и хохот Бориса и его отца с заднего сиденья, и песню, от которой щекало в груди, вольную песню моих предков, которую вдруг затанули на два голоса отец и мать Бориса:

Ой, у поли дви тополи...

Отец подхватил ее тенором, и она поплыла над широкими просторами, а машина летела по прямой бесконечной дороге. У въезда в город отец взял у меня руль.

Замелькали хатки Алексеевского хутора, сады, сине-сиреневые от обилия слив. Мы нагнали группу женщин, идущих с виноградников. Впереди них, чуть поодаль, ослики несли покачивающиеся корзины с чер-

ной «изабеллой». И тут я с ужасом и стыдом, опередившим нахлынувшую потом боль, увидел среди усталых, запыленных женщин... маму. Она шла босиком, в подоткнутой юбке, низко повязанная платком, немного отстав от остальной группы. Она хромала. Плечи ее ссутулились, она казалась старой и в нищенской своей рабочей одежде была совсем жалкой и одинокой. Мы обогнали ее, обдав тучей пыли, она посторонилась иглянула из-под платка отрешенно и равнодушно... Она видела меня!

Вечером я плакал и целовал ее грубые руки со сломанными ногтями. Она подняла меня с колен, вздохнула и сказала: «Я очень устала, сынку. Ложись и ты. Зачем убиваться? Так и должно быть». И уже ночью сказала, зная, что я не сплю: «Спи, Сашенька, спи. Я давно знаю, что с ним видишься».

После этого мне стало труднее с отцом. Блеск «линкольна» казался мне стыдным, как будто я отражался в нем голый, а рука, лежавшая на моем плече, давила на сердце. Мне хотелось припасть к ней щекой, как тогда, в первый день, но я знал, что больше уже не будет такого чувства радости и полета, доверия, покоя и счастья. Рука отца была слишком холодною. Не такая она была у мамы. Он не был ни в чем виноват, это я понимал. Но что я мог с собой поделать!

## БРАНЯТСЯ И МИРЯТСЯ

Мне было лет пять, когда мы жили в Теберде. Это на Кавказе, в горах. Теберда тогда не значилась в знаменитых курортах. Несколько домиков среди лесистых гор, и все. Отец мой был каким-то дорожным начальником, и, так как он всюду возил нас с мамой за собой, он поселил нас в одном из деревянных двухэтажных домов с балконом. У дома протекал горный ручей, и, засыпая, я любил слушать его шепот. Ночами с гор спускались шакалы, они будили меня и маму. Сначала было жутко, хотя папа и не велел нам пугаться, так как шакалы трусливые,— это во-первых, и не могут залезть на верхний этаж, где спальня,— во-вторых. Но я был все-таки маленьким — это во-первых, и вокруг на тысячу километров были леса и горы — во-вторых. Так что маме эти

концерты по ночам тоже не нравились. Иногда папа ночевал дома, а не ездил в командировки. Тогда он брал ружье и выходил на балкон. Он всегда почему-то радовался и говорил весело: «Заверни Борю в одеяло и вынеси на балкон. Пусть посмотрит, какие у них глаза зеленые. Это красивое зрелище». Папа стрелял с балкона. И шакалы, подвывая потише, удалялись. Иногда они приходили снова, и я сквозь сон слышал, как папа радовался «красивому зрелищу» и стрелял в небо, которое начиналось где-то высоко и неизвестно где заканчивалось — такие высокие были вокруг горы.

Днем я играл вокруг дачи с собаками, похожими на лисиц. Они были маленькие, лохматые и худые. Стрелял из лука, лазал по деревьям и дрался с Гаджибеком, сыном хозяина дома. Гаджибек был очень ловкий и хитрый. Он любил притворяться мертвым, и меня это каждый раз пугало. Когда я трогал его, он не шевелился, а рот с острыми маленькими зубами оставался открытым. Мороз пробежал у меня по коже, и я начинал кричать, звать взрослых: «Гаджибек умер!» Прибегала его мать, вся в черных платках, и давала ему пинка. Гаджибек вскакивал и бежал в лес, а мать бросала ему вслед суковатую палку, которая всегда была у нее под рукой. Потом она успокаивалась и просила меня поднять палку, я подымал палку и приносил ей. И вот однажды, в поисках палки, улетевшей на этот раз особенно далеко, я забрел в густой орешник и увидел отца, который сидел на пенке у маминых ног и грыз веточку. Мама говорила:

— Нет, нет, я ухажу, ты измучил меня...

И она заплакала, а папа засмеялся и сказал, что никуда она не уйдет и что он самый счастливый человек на земле. И еще что-то такое...

Я обомлел и стоял не двигаясь.

Потом папа встал и обнял маму, которая продолжала плакать, а она говорила, что он ее не любит. Потом мама вдруг стала смеяться. Мне стало тоже смешно, и я выскочил из засады с криком:

— Сдавайтесь, бледнолицые!

Они были очень рады мне, и мама, поправляя прическу, сказала:

— Какой ты умница, нашел нас, а мы от тебя спрятались.

Я это вспоминаю потому, что когда ссорятся взрослые, дети все равно не могут им помочь. Они плачут и смеются почти одновременно, эти взрослые, и в их словах и поступках нет никакой логики.

Папа приехал однажды из Владикавказа и привез мне черкесский костюм с настоящими посеребренными газырями, бешметом, красными сапожками и кинжалом (его потом и нашел на анапском нашем пепелище Костя-грек).

Мама Гаджибека велела мне тотчас же его надеть и восхищалась красотой дорогого подарка:

— Вот как он любит своего ребенка! Ничего не жалеет.

А мама сказала так:

— Иногда дорогие подарки означают чувство вины...

— Перестань, — сказал папа, — начинается...

Мне никогда не удавалось понять, что это «начиналось».

Мне повезло, я не знал злобы и вражды в семье. Но что и в благополучных семьях есть свои тайны и противоречия, я узнал не сразу.

Судя по дневнику, Саша болезненно и рано открыл для себя то, что для меня всегда было чем-то отвлеченным — ненависть, опустошающую ненависть людей друг к другу.

13 октября

«Они не ровня друг другу» — так говорят люди. И самое страшное, что это так и есть. Они, наверное, никогда не понимали друг друга. Но что же связало их? Значит, они любили друг друга? Любовь умирает? Это противоестественно!

А может быть, та боль, которая всегда жила во мне, оттого что я не видел мать и отца вместе; та боль, что усилилась, когда я нашел отца и должен был любить их отдельно раздражительной, взаимно ревливой любовью, — может быть, именно это и тянуло меня к Лене?

Ее я мог любить отдельно и целиком. Но и тут появился Борис... То есть, может быть, появился я, а он уже был? Мне всегда суждено любить соединяя, разъединяя, становясь на сторону тех, кто хочет любить меня, не любя того, кого я люблю... Это какой-то ужас!

Любовь не умирает, нет, она все время превращается в счастье других — вот что я думаю.

Отец счастлив — это было хорошо. Борис был счастлив — хорошо. Лена была счастлива — хорошо.

Мама уже не может быть счастливой... И несчастливой не может. Ее нет.

Я думаю о маме. И я думаю не только о ней. Я думаю об искусстве. Искусство, по-моему, и есть любовь.



То, чего никогда нельзя делить. Нельзя любить музыку и не любить моря, щенка, траву или любить Лену и не любить Бориса...

Когда те, кого я люблю, не любят друг друга, расщепляется мир. Мама говорила, что ей хочется умереть, видя, что я ее предал. Она так и сказала однажды, имея в виду отца. Потом она целовала меня, просила прощения, но ночью лежала с полотенцем, намоченным в уксусе, и громко стонала.

Она говорила жестокие, несправедливые слова, но я знал, что ничего поправить нельзя. Она любила меня. И я знал, что если бы я как-то проговорился, выдал себя насчет Лены, она бы этого не перенесла.

Она ревновала меня даже к Борису, которого, в общем, не могла не любить. Она со всем миром была в нервно-натянутых отношениях. Все, кто нравился мне немножко больше нормы, тотчас становились ее смертельными врагами. Внешне, чтобы не причинять ей горя, я научился быть ледяным и скрытным, но в душе у меня что-то рвалось навстречу всему живому, в каждом я хотел и мог видеть хорошее.

У каждого человека (без исключения!) есть хорошие и дурные качества. Как же может быть, чтобы, любя человека и видя хорошее в нем, начать видеть только дурное после того, как вы расстались с ним? Это значит, что любви-то никакой и не было. Как бы ни сложилась жизнь, любовь — это мое достояние. Никто не может изменить того, что я чувствую. Никому не по силам заставить меня любить или не любить.

Любить — это значит не делить мир, а объединять.

Я думаю над этими словами.

Я вспоминаю, как Лена прислала мне фотографию, где мы сняты с Сашей. Лена писала, что после смерти Саши, которая разорвала нашу связь с ним, фотография эта навсегда соединит «наше прошлое». Она имела в виду и себя.

Мы не ссорились с Леной. Просто наши пути разошлись. Взрослые ссорятся по-разному. Иные живут рядом и мучают друг друга. Иногда потому, что любят... Иногда же, как случилось у нас с Леной, люди расходятся, не успев узнать друг друга.

А может, это юность прошла мимо, не успев узнать себя?

14 октября

Вчера один человек в порту сказал, что наш катер реквизируется воинскими частями. Бои уже идут в Крыму. В Керчи — скопление наших войск. Неужели будет эвакуация? Был сегодня в военкомате. Военком сказал, что я ему надоел, но он что-нибудь придумает. Я сказал ему, что уже четыре месяца хожу на катере и ничего с моим туберкулезом не происходит. Он задумался и добавил к обычному обещанию «что-нибудь придумать», новое: «Возможно, ты мне завтра понадобишься».

*(Без даты)*

Не писал дневник. Простудился в норд-ост, болел. Кашель замучил. Начал обдумывать повесть о детстве.

С чего бы начать? Все-таки, наверное, с начала войны... Начну я с главного: как мы с Борей пошли в военкомат. На Кубанской нам встретился Васька Губан, какой-то надутый, выглаженный, с рыжим ежиком. («И вы уже «под нулевку»!») Но мы были не первые. Там у закрытых дверей сидело человек двадцать.

«Вы что, с вечера?» — спросил Васька.

Мы сели рядом на травку, нервно зевали, смотрели на прохожих. Как-то сразу мы почувствовали себя отделенными от них. Они — люди штатские. У меня что-то прыгало и подпрыгивало в душе: было радостно. Мы говорили громко, возбужденно. Всем, до сих пор помню, хотелось что-то сделать, как-то начать свою службу поскорее. Наконец показался Капустин, начальник третьей части. Он был в форме, как всегда ловко пригнанной на его, как говорится, ладной фигуре. Я подумал, что портупейя пошла бы и мне. Только плечи у меня узкие, наверно, съезжать будет с плеча. Капустин, увидев нас, подходил медленнее, и брови его почему-то нахмурились.

Мы встали. Поздоровались. А Васька — подлец такой! — подождал, пока мы нестройным хором прокричали свое штатское «Здрасти», и в наступившей тишине четко произнес: «Здравия желаю, товарищ начальник третьей части!» Мы все повернули голову в его сторону,

а какой-то мальчик даже открыл рот от удивления. Капустин строго сказал, глядя на Ваську:

«Ты будешь старшим. Пускать по одному. И чтоб тихо».

В кабинете Капустина я был после Бори, пропустил его вперед.

Он вышел красный, сияющий, с капельками пота над верхней губой. Я ничего не мог от него добиться, он только блаженно улыбался.

У меня все получилось не так. Капустин знал меня, и про португезу я уже не думал. Он пощупал мои бицепсы двумя пальцами, и, хотя я напряг их что было силы, они даже не раздвинули его прокуренных пальцев — большого и указательного. Капустин похлопал меня по спине, вздохнул сочувственно. Он знал нашу семью, а с отцом дружил. По глазам его я понял, что дела мои плохие, а хотел Капустин мне помочь. Он сказал:

«Вот ты, малый, грамотный, даже очень. И с дисциплинкой в порядке. Что же ты с физической подготовкой... хромаешь, а?»

— Товарищ...— Я боялся, что голос мой дрогнет, и проглотил слюну.

«Иди, братец. Я подумаю.— Он улыбнулся.— Я тебя понимаю. И знаю, что ты не подведешь. Подумаем, как быть».

Я вышел и все время гладил колючий ежик. Потопился я со стрижкой. Все уедут на фронт, будут бить немцев, гнать их до Берлина, а я...

Потом мы почему-то ходили в подвал, где собираются рыбаки, катались на ялике с Костей Челикиди. Я все время думал о том, какой счастливый Боря, как ему повезло. И как мы расстанемся. Мы ведь всегда были вместе.

Повесть я начну с этого дня. А потом я хочу написать о своем отце. Как он воевал в гражданскую. Как он дружил с Мате Залка и с одним французом-моряком. Папа говорил: «Мы—интернационалисты...» И я думаю, что надо начать с этого. Ведь в эту войну победят многие народы, если пойдут за нами, интернационалистами. Немцы говорят, что они — раса господ. Я сам это слышал по приемнику. Гитлер вопит как сумасшедший, что Германия превыше всего... А Борис думает, все дело в том, что в Германии нет Тельмана. Это верно, что комму-

нистов осталось мало. Но важно и то, что Гитлер немцев поймал на крючок шовинизма: мы, мол, самые умные, культурные, самые... самые...

Труднее всего нарисовать Борю. Я его люблю — это раз. Он всякий — это два. Всякий потому, что все понимает, но как-то не хочет думать сам. Понимает, как будто догадывается. А надо знать, рассуждать. Про интернационализм у него путаница какая-то. Боря все смешное помнит и в лицах умеет представить, но не хочет задуматься над тем, что наш интернационализм начинается с малого, с самого детства: мы все одинаковые. Мы все одна семья.

Вот рассказы Бори о Гаджибеке, Манушак, про осетина Ваню, шофера его отца... Я так и вижу все. Только надо про это написать в повести так, чтобы стало понятно: 1) почему Боря вырос интернационалистом и 2) почему мы еще больше любим свою общую Родину, где нас научили уважать разные нации.

## ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Здесь рукопись обрывалась. Край листа обгорел, дальше уже шли другие записи. Я досадливо отложил листы. Как жаль, что не сохранилось продолжение этого интересного рассказа!

И я попытался вспомнить по порядку: и первый день войны, когда мы пришли в военкомат, и свои воспоминания о детстве на Кавказе... Что я помню из этого? И как помню сейчас, если Саше представлялось, что я никогда не задумывался над серьезными вещами? А может быть, и верно: не очень я умел делать выводы. Жил, и все.

Воспоминания потянули меня в прошлое.

Да, все началось тогда, утром. Черный круг радио. Он застал нас на улице. Мы стояли у столба на углу возле динамика. Людей становилось все больше. Какая-то женщина вытирала глаза платком. Мы ходили с дядей Мишей на пристань за рыбой и возвращались с кошелками, полными свежей барабульки, прикрытой вчерашней газетой. После ночной путины часть улова тогда продавалась прямо в порту. Я слушал про вероломное нападение Германии, про бомбежки наших городов и машинально читал на газетном листе,

пропитанном влагой от сырой барабульки: «...Объявляется прием на очное и заочное отделение... иногородним предоставляется...» Дядя Миша сказал:

— Даже не верится. Без объявления войны. Как папуасы...— Губы его дрожали.

Папа, тот всегда говорил, что они «полезут, в конце концов», а дядя Миша пожимал плечами: «Зачем им лезть? У нас же пакт».

Я отдал дяде свою кошелку и побежал к Саше.

Он уже слышал. Он сидел на табуретке во дворе, и Костя Челикиди остригал Сашины каштановые кудри. Мягкие кучки волос лежали на салфетке с петушками, которой была повязана шея Саши. Костя сопел и шмыгал носом, вытирая его локтем с каким-то яростным выражением, будто нос и был во всем виноват. После Саши сел под машинку и я, но она испортилась, и вторую половину головы Костя стриг ножницами.

Все молчали. Только Костя иногда говорил шепотом:

— Ну, гады, гады...— и сплевывал.

Потом мы пошли с Сашей к морю и сидели под скалой. Наконец Саша сказал:

— Пойдем. Там уже должны начать работу.

Мы встали и пошли в военкомат. Странно, но ни я, ни он не говорили об этом, а поняли сразу: надо идти в военкомат.

Да, все было так, как записал в дневнике Саша. Меня вскоре приняли в летное училище, а его забраковали. Саша все еще не верил в это и, забываясь, твердил, как хорошо было бы нам попасть в одну и ту же часть. Мне было грустно. Я трезво понимал, что расстаемся мы надолго, а может, и навсегда. И почему-то чувствовал себя виноватым, что был сильнее и здоровее его.

В тот день мы и сфотографировались. Обычно долговязый фотограф из курортторга скучал в Пушкинском сквере. Когда-то белые его брюки от фиксажа имели странный цвет с разводами. Город был маленький, и все уже переснимались, вставляя головы в круглые дыры на полотне, где были нарисованы богатырское тело с золотистым загаром (если снимался мужчина) или пышнотелая девушка с рыбьим хвостом (если хотела оставить по себе память женщина, даже если ей было столько лет, сколько моей бабушке). Наверное, поэтому и не все хотели оставить по себе память. Дядя Миша, например, говорил, что надо писать в районную газету про это бескультурие. Но все почему-то смеялись: им нравилась

выдумка долговязого — бескорыстная и ненавязчивая. Ведь у нас была и другая возможность отразить свою физиономию: на Кубанской было настоящее фотоателье «Нарцисс», где можно было сняться на разные документы и где все стоило дешевле. Правда, в промкооперации снимали хуже, но зато без рыбьих хвостов и без огромных приставных бицепсов на фоне неба и чаек. Но в этот день курортторговый фотограф не скучал. Даже у него была очередь. Он был серьезен и не острил принудительно, как раньше; он даже снял полотно с ласточками и телом русалки, скатал бицепсы с чайками и жарким небом и фотографировал всех на фоне черного щита с плакатом Осоавиахима. Снимались мои сверстники. Снялись и мы с Сашей. Хотя мы как будто и принимали несерьезные позы, вышли на карточке очень серьезными, как взрослые.

Потом мы пошли с Сашей в подвальчик, чтобы попроситься с Костей Челикиди, который сидел там с рыбаками с утра. В подвальчике было в этот день непривычно тихо. Только дядя Панас, рыбацкий атаман, как всегда, философствовал. Война была главной темой разговоров. О ней говорили все, вполголоса, озабоченно. Казалось, что-то носилось в воздухе, и как ни старались люди не замечать этого, оно, это неуловимое нечто, вошедшее со словом «война», не оставляло нас.

Костя Челикиди не дал нам платить. Он поставил на бочку три стакана розового «Алиготе» и положил вяленую барабульку. Мы смотрели на барабульку и тянули холодное кислое вино. Первое возбуждение спало, и мы все молчали.

— Хорошее вино,— сказал Костя, заглядывая нам в глаза.

— Хорошее вино,— ответил вежливый Саша.

— А вчера не такое было, а, дядя Панас?

— Вчера я был на путине,— отозвался дядя Панас. Он сидел в углу под железным фонариком, тускло светившим в папиросном чаду.— Вчера я ловил рыбу. А теперь рыба будет ловить меня. Я знаю, что такое война. Война—это такая волокуша, чтоб ей...— Дядя Панас махнул рукой.

— Мы пойдем? — спросил Саша Костю.

— Так хорошо сидим,— сказал Костя, хотя мы стояли вокруг бочки,— даже жалко...

Мы помолчали. Костя сказал:

— А правда, хорошее вино!

Все думали об одном — о войне, но говорили о пустяках. В тишине слышно было, как льется вино из крана в черпак.

— Пять копеек,— сказал продавец.

— Хорошее вино,— сказал Саша.

— А вчера был не тот букет. Ты вчера откуда получал? — Костя обернулся к продавцу.

— Та самая бочка,— ответил тот.

— Заливай,— обиделся Костя,— он мне говорит! Тот керосин и сравнить нельзя... Он мне говорит!

— Не пей! — огрызнулся продавец.— Он меня пугает, ха!

— И не буду пить! — Костя залпом выпил стакан «Алиготе» и вытер губы рукавом синей куртки.— Пошли, хлопцы, пускай ему снится, что это вино!

— Выгребай,— лениво отозвался продавец, протирая стаканы полый халата.— Выгребай по фарватеру.

Мы поднялись по зеленоватым от сырости каменным ступенькам и неспешно направились к морю. Оно было в тот день синее-пресинее.

На пристани мы взяли ялик и, оттолкнувшись от деревянной сваи, обросшей рыжими водорослями, мягко заскользили по воде. Большая бухта сегодня была пустынна. Я греб, Костя и Саша разговаривали.

— А ты, Костя, что будешь делать? — спросил Саша серьезно.

— Я, Александр, буду бить этих паршивых фашистов и запивать настоящим «Алиготе».— Костя все еще не остыл.

Он свистел популярное танго, как бог. Одна рука Кости перевешивалась через борт и пенила воду. А Саша сидел задумчивый, как бы отрешенный. Я греб и смотрел на них.

Тогда мы не знали, как это получилось, но долговязый фотограф дал нам всего одну карточку, и мы не сразу придумали, как нам быть. Я уезжал в этот день. Тогда Саша взял ножницы и с улыбкой разрезал фото — себе взял мое изображение, а мне дал свое.

Мое лицо было пробито пулей и залито его кровью...

Мне передали эту половинку карточки вместе с дневником. А общая карточка нашлась позднее. Ее взяла у фотографа Лена.

Она хотела снова соединить нас вместе.

Я часто смотрю на Шашину карточку, на его удивленное лицо с большими глазами, чуть удлинненными. Чистое лицо

с высоким лбом, с очень длинными ресницами, которые всегда придавали ему сходство с девочкой. Глаза он щурил, и фотограф поймал его на начале этого движения век.казалось, Саша увидел что-то удивившее его и пристально хочет всмотреться, понять, успеть понять... Возможно, понять то, почему мы выросли интернационалистами и почему мы любим свою Родину.

В паспорте у меня написано: русский. Я не знаю, как это получилось. Родители мои украинцы. Отец мой ездил по стране, и мама называла его цыганом.

Сначала жили в Сочи. И во дворе, на Приреченской улице, я дружил с армяночкой Манушак. Я говорил по-армянски и по-украински. Из сочинских впечатлений в памяти осталось: солнцем нагретый квадрат двора, платан, под ним топчан, покрытый простыней, и Манушак, которой я ставлю «банки» — горячие голыши. У Манушак дергаются черненькие косички и дрожит попка в трусиках — белых в синий горошек. Голыши раскалены на южном солнце, но она терпит...

Помню еще шторм. Мы с папой ходили смотреть. Толпа людей. Все смотрят на море: «Видите? Вон они... Бедные животные!» Почему-то в море вынесло быков, и они трубили, как архангелы. Они были далеко от берега, а волны достигали балкона гостиницы, которая стояла на берегу, довольно высоко. С тех пор я знаю, что такое «девятый вал» и «двенадцать баллов».

Когда мы жили в Теберде, отец возил меня в горы. Ехали мы на двух лошадях втроем. Отец и Гаджибек-старший были в бурках. Я сидел в седле отца, вернее, на подушке, которую привязали перед седлом. Первое впечатление: страшно высоко. Запах пота лошади, тепло от нее и то, что края бурки мешали смотреть по сторонам. Потом меня укачало, и я спал, просыпался, видел качающиеся горы слева. Ехали мы по долине. Было еще сумеречно, и только вершины гор чуть светились зеленовато-розовым. На гриве лошади и на бляшках поводьев была роса. Я замерз и прижимался к теплому отцу. Потом всходило солнце, и мы остановились, потому что папа хотел, чтобы я увидел это «редкое зрелище». Хотя солнце, как известно, всходит ежедневно. Потом было очень тепло, а потом даже жарко. Мы лежали на бурках, пахло травой и цветами, летали пчелы. Горы были синие, и хотелось смеяться. Папа повел меня в ущелье, и мы купались в теплом источнике, кажется, это был нарзан. Пу-



зырьки весело прыгали по телу, щекотали живот. Гаджибек не купался.

Помню, как мы ездили с мамой и папой на базар в Темирхан-шуру. И как я «потерялся». Горцы в мохнатых шапках кричали отцу «кунак», и хлопали по плечу, и обнимали, и куда-то уводили. Мама нервничала. Вокруг все шумели, блеяли овцы, на кострах тут же жарили мясо, на земле свеживали туши, под навесом лудильщик что-то напевал, а солнце жарко отражалось в медном тазу. Помню яркие черно-красные ковры, расстеленные на столах; кувшины, стоявшие на земле длинными рядами; осликов, которые кричали львиными голосами, хотя были маленькими и добрыми; на одном меня покатали Гаджибеки — старший и младший (он ездил с нами на базар и был очень послушным). Мама повеселела только тогда, когда папа вышел из дома на площади, примеряя папаху. Кунаки хлопали его по спине и кричали: «Джигит, вах, джигит!» Папа размахивал руками и кричал: «А ну-ка, закрой глаза! А ну-ка!..» Мама закрыла глаза, и папа дал ей какие-то серебряные висюльки, за которые мама его поцеловала при всех. В это время я увидел верблюда, о котором мне столько рассказывали. Я восторженно смотрел на его приседающую шею, маячившую высоко надо мной, на высокомерную нижнюю губу, поросшую редкой бородкой. На верблюде был покачивающийся вьюк из грязновато-полосатой ткани. Когда верблюд прошел мимо меня, Гаджибек-младший шепнул мне: «Айда!» — и пригнувшись побежал.

Я побежал за ним. Мы пролезли между рядами с горками плоского сыра, подлезли под столы с коврами и выбрались на узкую боковую улочку, где пахло чем-то пряным и горелым. Гаджибек вынул из-за пазухи два красных яблока и протянул одно мне. Потом мы залезли на глиняный забор и стали рвать зеленые персики во дворе. На нас залаяла лохматая собака, и мы, спрыгнув с дувала, побежали по улице. Улица была кривая и все заворачивала в одну сторону. Собака бежала за нами, и я, оглянувшись, упал. До сих пор помню страх, который я испытал, когда увидел над собой красную оскаленную пасть. Но Гаджибек закричал: «Аш!» — и бросился между мною и собакой. Не очень помню, как нас нашли, но навсегда осталось в памяти, как мы с Гаджибеком-младшим подружились «до смерти». Он заставил меня проколоть палец колючкой, сам сделал то же самое, и мы потеряли ранку об ранку. «Теперь ты мой брат», — сказал он серьезно.

Потом мы переехали во Владикавказ, и я дружил с осетинцем, которого звали по-русски Ваня. Ему было лет двадцать. Он был шофером у папы.

Мы все время ездили с места на место, и я учился говорить то по-армянски, то по-осетински, то по-гречески... В Анапе половина товарищей моих были греки.

Я читал украинские книги. «Пишла киця по водичцю, тай упала у крыницю...» Ее спасал кот. Он всплескивал руками над аккуратным срубом. Кот был с запорожскими усами и в вышитой рубашке.

Помню, в школе нам сказали, что в параллельном классе появился новый учитель черчения по прозвищу «Лекало». Так на того бегали смотреть. Говорил он, «как поет», что всех смешило. А учительница литературы нас пристыдила: «Это самое что ни на есть русское произношение. Московское...» Так, в четырнадцать лет я впервые услышал чисто русскую речь!

Раз как-то на пляже мы познакомились с курортным мальчиком. Мальчика звали Иосик. Я смеялся над его произношением беззлобно, но папа все равно меня отругал. Сначала я и не понял за что. Из разговора с отцом остался в памяти разве что этот смешной случай. Мы пришли с Сашей к Иосику, и я спросил:

— А где ваши подушки?

Тетя Сара, мама Иосика, удивилась. А я сказал:

— Черные... тысячники резали перины и подушки.

Тетя Сара стала хохотать и, смеясь, обнимала меня и целовала:

— Ай, милый мальчик, так то было до революции! И не «чернотысячники», а черносотенцы... Мне бы твои заботы! — Она просто заливалась от смеха. Наконец она вытерла слезы и сказала серьезно: — Такое время было. Но прошло навсегда. За наши подушки будь себе спокойный. И за перины тоже. Это же было до революции. Когда одних натравливали на других... Кстати, ты мне напомнил, что пора просушить перины. — И она хлопотливо забегала по дому.

Потом мы сидели в садике и ели варенье из айвы. И отгоняли ос. Иосик принес лото, и мы играли на пуговицы, как на деньги.

Встретились мы уже на фронте.

Так вот, я и хочу сказать, что Саша был не совсем прав. Наверное, я тоже все понимал про интернационализм.

Низ листа обуглен. Вверху — штриховой рисунок: голова девушки с челкой. Похожа на Лену. И слова поперек рисунка:

...такой я ее и запомню. С подбородком на высоко поднятых коленях. С капельками воды на ресницах. С грустными глазами...

19 октября (утро)

Дождлся я утра: военком сказал, что моя просьба уважена и я буду служить в армии как вольнонаемный, но форму (морскую) выдали. Без нашивок и знаков различия. Да разве в них дело! Когда я пришел в черной шинели, сапогах, бескозырке, тетя Лиза всплакнула, а Тобик долго обнюхивал меня и ворчал.

Сашу военным я не мог себе представить.

Не мог себе представить его и наедине с Леной. Мы всегда ходили к ней вместе. Я долго рассматривал Сашин рисунок. Лена казалась ему не такой, какая была она на самом деле. У него получилась какая-то Прекрасная Незнакомка с длинными ресницами и огромными глазами. А по-моему, ресницы у Лены были белесые и короткие. А родинку твердую на левом крыле носа он не нарисовал. Или он не замечал того, что ему не нравилось?

Правда, раньше она мне тоже казалась красивее.

Саша мне чем-то напоминал отца.

Мой отец, всегда энергичный, веселый, брался за самые невероятные предприятия с ходу и осваивал все новые и новые профессии. То ночами читал книги по сельскому хозяйству и через какое-то время организовывал сенозаготовки в Курсавке и Славянской; то зажигался рыборазведением и строил усовершенствованные садки в приморских лиманах; то писал проекты строительства мостов в горах Кавказа и получал добро на их осуществление; то, как я уже говорил, был начальником рыбного треста, винного завода. Он знал массу всевозможных вещей. Но, не успев довести дела до конца, увлекался новым.

Я помню, когда мы приехали в Анапу, он сразу взялся за рыболовецкое хозяйство. Терпения не хватило ждать по-

мещения под контору, и, к ужасу мамы, наш недостроенный дом с утра наводняли огромные детины в робах, пропахших смолой и рыбой. Они громко хохотали, шутили, хлопали дверями, курили махру и учили меня морским ругательствам, которые были, на их взгляд, безобидны, как утренняя молитва в женском монастыре, но, на взгляд мамы, от них «вянули уши». Под контору выделили боковую комнату с окнами в сад. На стенах отец развесил какие-то схемы и чертежи. И стал ждать «замечательных личностей...»

Так я познакомился с Гришей и Костей. Они пришли вдвоем в новеньких фуражках с «крабами». Гриша Близнюк смущенно хмыкал и на все вопросы отца отвечал односложно: «Та конечно...», «Та как же...», «Та ни в какую...», «Та боже упаси...», «Та хiba ж можно...», «Та аж свист пойдет до Тамани...» Это была самая длинная фраза, и он был принят бригадиром. Костя сидел нога на ногу и изъяснялся более изощренно: «Чтоб моя мамочка перевернулась в гробу...», «Или я не буду Челикиди, если хамса пройдет в эту дырочку...», «Выпить на работе? Что я, турецкий подданный? Я скорее съем медузу!..», «Они у меня будут плакать как маленькие!..» Костя был поставлен на вторую бригаду. Дядя Панас — главный бригадир и папин заместитель одновременно — обещал наладить коптильный цех.

Оформление прошло быстро. Отец выставил четверть вина.

До поздней ночи рыбаки двух бригад пировали в нашем саду, сидя на украинских ряднах в полоску прямо на траве. Они учили нас петь «Кубань, ты наша родина». С рыбаками пришли их жены в ярких платках, с семечками, которые они грызли так лихо и так быстро, что я сидел как зачарованный, восхищенно глядя на их яркие рты и мелькание серой скорлупы.

В день пиршества дядя Миша осуждающе качал длинным носом: он удивлялся, как папа «оформляет штаты».

Мы поехали на ночной лов рыбы. Шел мелкий и душный дождик. Даже ночью было тепло, и вода пузырилась в свете фонаря, который стоял на носу фелюги. Я сидел около мачты на свернутых снастях, слушал поскрипывание и плеск за бортом, мотор тихо ворчал, темный горизонт сливался с морем, и казалось, что мы стоим на месте, а быстрые струи стремительно обтекают борта. Фелюгу тихо подымало и опускало на волне. Когда ветер переменялся, стало пахнуть бензином, а когда мы подошли к берегу, из черной пасти

ночи выглянул веселый язык пламени. На берегу горел костер. Мы сошли по сходням. Остановившуюся фелюгу у берега сильно качало. У костра я слышал мамин смех. Варили уху. Дождь перестал. Подул «морячок», теплый сырой ветер, и опять запахло водорослями, рыбой, смолой. Мама сидела у костра на перевернутом ящике. Рядом с ней на том же ящике примостился дядя Миша. Мама захотела купаться и со смехом побежала в палатку переодеться. «Давай, Федя!» — крикнула она отцу. И папа начал было снимать рубаху, пританцовывая вокруг рыбы, которую сгружали с фелюги. Он был счастлив, улов был отличным, его план удался, и рыбаки любили его, и все ему, как всегда, удавалось, и я и мама были с ним в момент его триумфа... Только дядя Миша, закутав свою тщедушную фигурку в штормовку Кости, которая была ему велика, мрачно качал головой.

— Во-первых, мы все простудимся. Потом, ребенку давно пора спать. Наконец, сначала надо заприходовать рыбу.

— А что? — удивленно спросил папа.

— Ты наивен, как ребенок, — со вздохом сказал дядя Миша.

Папа нахмурился. Потом внимательно посмотрел на дядю Мишу и, резко повернувшись, пошел прочь...

Мне было лет четырнадцать, когда у папы возникли какие-то неприятности. Он ходил куда-то, долго его не было. Мы не обедали, ждали папу. Мама ходила по комнате, трещала пальцами, чего я очень не любил. Потом заперлась в спальне. Я знал, что она плачет. Не удивился, когда услышал:

— Ты брал рашель?

Так называлась ее пудра. Я действительно отсыпал эту ее «рашель» для драмкружка. Мы ставили Чехова, и Флора просила меня принести розоватую пудру. Ей казалось, что под розовой не так просвечивает ее загар. Мама после слез всегда пудрилась. Мама вышла из спальни, как всегда, строгая и подтянутая.

— В таких случаях принято спрашивать.

— Я спрашивал, ты забыла.

— Если я что-то говорю, то не забываю, — повышая голос, сказала мама. — И вообще мне не нравится...

Но тут хлопнула калитка и послышались шаги по гравию дорожки. Мама не договорила. На ее лице появилась улыбка. Папины шаги мы знали. Он вошел бледный и серьезный. Посмотрел на маму и на меня и облегченно вздохнул.

— Идеалист... — сказала мама и стала вытирать глаза. — Неисправимый идеалист... Я разогрею... — Она пошла на кухню, а папа подошел к окну и почему-то задернул занавеску. Я сказал:

— Мы не отмечали фронт.

Отец посмотрел на карту Испании, где черные и красные бумажные флажки на булавках показывали линию фронта, и сказал все еще рассеянно:

— Да, да... фронт...

Но потом тряхнул головой, улыбнулся и потер руки.

Папа взял один красный флажок на булавке, и еще, и еще один и нашел им нужное место на карте. Потом с силой выдернул черный флажок и нечаянно укололся — красная капелюшка осталась на зеленом поле. Папа пососал палец и, продолжая улыбаться, передвинул назад черные флажки.

Карту Испании чертил папа, а раскрасил я. Это была наша гордость. Карту приходили смотреть знакомые. Ахали, качали головой сокрушенно или радовались. Не было дня, чтобы флажки не двигались. У Гвадалахары, у Мадрида бумага была истыкана до дыр.

Папа и дядя Миша очень поссорились у этой карты. Папа кричал, что как только мы (он говорил о республиканцах «мы», и все тогда так говорили) укрепим силы, мы в месяц кончим войну, погоним Франко к морю и утопим его. А дядя Миша кивал своим длинным носом и усмехался.

— Идеалист... У них сила, они и прут.

На это папа отвечал, что главная сила — в идее и что потому мы непобедимы.

А дядя Миша все сводил на силу иную — кулака. Он так и говорил:

— Кулак. Железный кулак.

И показывал свой сухонький, маленький кулачок.

Мы с Сашей присутствовали при этих спорах. Мы молчали. А потом залезли на большую абрикосу и долго сидели в ветвях. Саша сказал:

— В сущности, оба правы. Но лучше ошибаться, как твой отец, чем быть правым, как дядя Михаил.

И я, помню, совершенно с ним согласился.

Мы распевали:

Я хату покинул,  
Пошел воевать,  
Чтоб землю в Гренаде  
Крестьянам отдать.

Прощайте, родные!  
Прощайте, семья!  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

19 октября (ночь)

...Хочется в будущей повести рассказать о наших отцах. Вот рассказ мамы Бориса, который я запомнил.

Молодая Сторчинская, учительница, вместе с мужем, полтавским юристом, приехали к ее родителям, в деревню. Шел 1920 год. Ночью залаяли собаки, послышались выстрелы, проскакали с гиканьем всадники. Ночь озарило пламя. Кто-то постучал в дом стариков, где Сторчинская пряталась на чердаке. Сам юрист, проверив предохранитель, сунул револьвер в карман куртки. Дедусь, перекрестившись, открыл — дверь уже дрожала под ударами прикладов. Ввалилась живописная группа бандитов, с ними сам Левченко, атаман. Снял папаху смушки серой, смахнул ею чашки со стола, сел, уставясь печальными глазами на образа, пошевелил губами и спросил чаю, ни на кого не глядя. Дедусь перевел: «Бабо, горилки несы!» Тогда Левченко посмотрел на старика исподлобья: «А ты — православный, диду. Чого стоишь? Сидай». Дед сел, спокойно набил трубку. Сторчинский все так же стоял, в своей форменной куртке, держа руку в кармане. Левченко и его люди не обращали на Сторчинского никакого внимания. Кто-то из бандитов прошел в соседнюю комнату и стал снимать сапоги, стуча и ругаясь, видно, располагался на ночлег. Бабка принесла бутыль самогону, огурцы, поставила на стол, достала рюмки, протерла их вышитым рушником, подошла было к печи, глазами, чуть подняв веки, спросила деда. Тот гневно насупился, она понимающе вернулась на место у стола. «А это кто?» — хрипло спросил атаман, не поворачивая головы в сторону Сторчинского. Тот молчал. «Зять мой, из Полтавы». Левченко поднял свой налитый кровью тяжелый взгляд на Сторчинского, который так и стоял у двери, не вынимая рук из карманов.

Вдруг раздался выстрел, за ним другой, застрочил пулемет. Левченко с криком: «Опанас! Грицько! Сукины дети!» — выскочил наружу. Бородатый бандит, с сапогами в руке и наганом — в другой, появился из соседней комнаты. Сторчинский выстрелил, бандит выронил

наган и сапоги и завопил, зажимая рану на плече. В это время, услышав выстрел в доме, юная учительница с грохотом скатилась с лестницы и, дверью ушибив мужа, вскочила в комнату, где дед пытался кочергой оглушить отбивавшегося ногами и вертящегося бандита. В открытую дверь незаметно вошел рослый красавец в кожаной тужурке с наганом в руке. Только услышав его хохот, все оглянулись, а дед перестал лупить бандита.

«Листровой!» — закричал дед.

«Кочергу поставь», — ответил тот весело.

Он подошел к Сторчинскому и пожал руку.

«Спасибо!»

«А ему за що?» — ревниво проворчал дед, все еще не остывший после боя.

Листровой, снимая шапку и кладя ее на стол рядом с начатой бутылкой, сказал деду:

«Твоя хата видная. Знал, что Левченко к тебе станет. Вот Федя и вызвался. В случае, если б мы запоздали...»

«От басурман! А я так думав, по батьку с матерью соскучались», — обиделся дед. Он посмотрел на длинноносую дочь свою, глаза ее смеялись.

Интересно, как это все запомнил Саша? А я читал его дневник и пытался вспомнить, когда же это мама рассказывала нам об отце и гражданской войне? И почему возник такой разговор? Странно, что я совсем не интересовался прошлым.

Вот он дальше написал: «Боря тогда нафутболился». Это другое дело. Это я помню.

Отец все время был в разъездах. В одной из поездок он купил мне настоящий футбольный мяч, настоящие гетры, белые в голубую полоску, настоящие щитки, настоящие бутсы!

В воскресенье я вынес все свое богатство на наше футбольное поле. Оно было «за валом», напротив дома, на «греческой стороне». Зеленая площадка имела одно неудобство — покатоСТЬ в сторону улицы Крепостной. Мяч нередко летел в сторону калитки Челикиди, и тогда тетя Зина, подперев бока, выходила на улицу, и громкий ее голос слышен был даже на нашей улице. Кроме меня, все были одеты разношерстно. Различались команды весьма условно: одни были



в выцветших майках, другие (по жребию) голыми до пояса. Мой, правый, край был самой высокой частью поля. Я бегал по бровке вала, и, если упускал мяч, мне приходилось скачаться в ров и оттуда выбивать его свечой. Когда приходил домой, валялся с ног от усталости.

Я легко проходил по краю и навешивал на центр такие передачи, что Ваське Губану оставалась «детская работа» — головой направлять мячи мимо вспотевшего вратаря. Моя команда выиграла с большим счетом. На следующий день Васька попросил — «поиграть» — бутсы. Я бегал в красивых гетрах, но босиком. На третий день в моих гетрах играл Пеца — маленький юркий инсайд, — его часто «ковали», то есть били по ногам, и играть без щитков и гетр он просто отказывался. Игра была ответственная, противник — греческая школа с Черноморской улицы — был грозный, и я с сожалением расстался с гетрами. Во втором тайме Васька разулся и дал левый бутс Коле, по прозвищу «Кобыла», у которого сегодня не ладилось с его коронным ударом «пушечный крученный». Постепенно от моих доспехов ничего не осталось, но команде это пошло на пользу. Я бегал в чем-то одном ботинке, перевязанном бинтами. В конце концов меня просто выгнали, и я сидел за воротами и подавал мячи вратарю. После игры, которую мы позорно проиграли, ребята ушли, не глядя на меня, и унесли мяч, мой мяч, который папа привез мне из Новороссийска. Тогда я не стерпел и, догнав ребят, попросил вернуть мяч. Они опешили, только теперь вспомнив, что играли в моих бутсах, щитках, красивейших гетрах, моим мячом. Пеца даже сел стягивать гетру с левой ноги, но я взял только мяч и пошел.

— Зачем тебе мяч, такому мазиле? — спросил Васька, капитан, не остывший еще после поражения.

— Тренироваться буду, — сказал я униженно.

...Вот всякую чепуху помню, а серьезные вещи просто из головы вылетают. Обидно даже.

## КАК МЫ МЕНЯЕМСЯ

Как изменился папин товарищ, я узнал, когда стал старше. Перед войной папа был директором завода, где делали вино и в одном цехе — безалкогольные напитки. Последний цех этот был папиной особой гордостью. Папа ездил в Тиф-

лис к знаменитому мастеру Лагидзе, и, хотя все говорили, что старик никому своих секретов не выдаст, папа изучил на заводе способы и составы вод и начал выпускать лимонад «Анапа», который летом имел грандиозный успех.

Слава о лимонаде дошла и до Листрового, который решил наладить поставку напитка для своего завода. Но папа ему отказал, так как для Анапы воды было «в самый обрез». А мама говорила дяде Мише, что «собака зарыта в другом месте».

— Федя хочет его проучить. Он зазнался и живет, как Навуходоносор.

Я запомнил эту историю по странному слову, которое трудно было понять. Правда, в то время я даже знал, кто был этот Навуходоносор, но в детстве и даже в юности к истории относишься, как к чему-то настолько далекому, что никак нельзя соединить с настоящим.

Пришел день, и Листровой приехал к папе объясняться. Папа сказал, чтобы никто не совал нос в «мужской разговор». Мама накрыла на стол и тоже ушла. Сидели они в саду, и я помню, что мама кормила шофера во флигельке, который к тому времени был пристроен к сарайчику. Обедали с ним и мы с мамой.

В саду слышался громкий разговор, и мама нервничала. Листровой уехал рано. Папа пошел к морю, ничего не сказав. Но вечером, успокоенный и тихий, он сидел с мамой в саду.

— Это к лучшему, Оля. Рвать надо с корнем...

— Интересно, а мы тоже меняемся? — Мама говорила грустно. — Ну разумеется, не так, как Листровой, но меняемся ведь?

— Со стороны виднее, — сказал папа.

— Спокойной ночи, — сказал я и пошел спать и больше ничего не слышал.

А жаль. Теперь мне очень хотелось бы дослушать многие их разговоры.

Почему в детстве растешь эгоистом? Взрослые все время думают о главном. Им трудно. Если бы дети не пропускали мимо ушей многое, о чем говорят взрослые, может быть, потом им было бы легче жить...

А впрочем, для чего было бы тогда детство?

Но если так, то почему не у всех было детство, не у всех была юность?

Наблюдаю людей на войне. Как отляжет от сердца — на отдыхе, между боями, а то и сразу же после боя, — смех, шутки. Везде найдется балагур. И вот что открыл для себя: балагур этот почти наверняка... самый умный и серьезно относящийся к жизни человек. Просто он, наверное, лучше других понимает, что человек на войне шлифует себя, свой характер, оставляет самое лучшее и стоящее в себе. И, будто боясь, что страх может помешать такой работе очищения, переключается сам и других отвлекает от страха.

И еще интересно: как проходит страх. Это как болезнь. Раз, два, три, четыре раза — кажется, никогда не привыкнешь. А потом — второе дыхание. Со мной, по крайней мере, так. Не сглазить бы, но я уже не так боюсь. Спокойно делаю свое дело, а мысль о самосохранении живет тихонько где-то сама по себе. Главное, она не мешает мне больше.

Может быть, потому, что на войне все время живешь без потолка над собой, природа окружает тебя всеми красками. Никогда так не чувствовал красоту неба, особенно в переходные часы: перед восходом, сразу после захода солнца. Когда долго на море нет немцев, начинает казаться, что их уже и не будет, только одно море и небо. Раньше шторм на море все-таки казался угрозой, а теперь страшнее штиль. В шторм безопаснее в войну.

Интересно, что сейчас делает Борис?

Немцы подходили к Симферополю. Меня наспех научили держать штурвал и нажимать гашетку. В войну многие летчики проходили ускоренный курс. Я сделал свой первый вылет уже в ноябре, незадолго до того, как наши войска начали эвакуацию с Керченского полуострова.

Я летел правым ведомым у Башьяна. Левым — старший сержант Петров. Мы поднялись в семь утра с аэродрома. Ветер был встречный. Сильный. Пролетели плавни, большой лиман. Прямо по курсу была Керчь, потом легли на курс норд-вест. Здесь мы и перехватили немецкие истребители. Они шли на мыс Зюк, а за ними на другой высоте шли три звена бомбардировщиков. Они ежедневно бомбили Керчь, Багерово, Камыш-Бурун.

Стоял ноябрь, в проливе бушевал шторм, висели холодные туманы. В воздухе полное превосходство немцев, а наши аэродромы далеко, мы могли крутиться минут 10—15 над зоной непосредственных боевых действий, не больше — не хватало горючего.

Увидев нас, истребители разошлись в стороны и потом стали охватывать нас по два звена с каждой стороны. Башьян командовал не обращать внимания на их маневр и идти против курса бомбардировщиков, но с запасом высоты. Наша цель была — разбить, рассеять клин тяжелых машин, а «мессеры» хотели увести нас в сторону. Я сообразил, что на встречном курсе, если нас не успеют сбить до того, как мы сойдемся с бомбардировщиками, «мессеры» нам не опасны — они не смогут стрелять, рискуя зажечь свои «юнкеры». Но чувствовать, что мы в мешке, тоже не сахар. Башьян взял на себя центрального, я атаковал левого под углом градусов в сорок сверху. Ясно видел огненную трассу по корпусу и левой плоскости, но он, сволочь, не загорелся, а я долго не мог почему-то выйти из пике, заела ручка. Внизу я видел ранний в этом году припай — тонкий ледок вдоль берега и горящий самолет на самом берегу. Это Башьян свалил своего. Когда я выровнял машину, на меня камнем упал «мессер» и дал короткую очередь. Мотор мой зачихал, и тяжелые клубы повалили из него; я рванул самолет вверх, ничего не видя в клубах едкого дыма, перевернулся через крыло и, потянув за собой длинный шлейф, стремительно понесся к земле. Чудом не взорвались баки, чудом я остался жив. Обгорел самую малость. Сел я прямо на позициях наших войск. Солдаты строили укрепления.

В том бою Петров, незаметный, до того вечно все путавший, сбил второго «юнкерса» и спас жизнь Башьяну, когда в хвост ему заходил «мессер». Он подбил истребителя врага и посадил его, прижав сверху к нашим позициям. Но мне сказали, что и я принес пользу: бомбардировщики повернули назад и сбросили бомбы беспорядочно в Азовское море, а мой подопечный «юнкерс» не дотянул и упал в море. Это видел наш разведчик. Значит, я его тоже подбил? На это Башьян ответил лаконично и уклончиво: «Надо надеяться». Я был не удовлетворен таким ответом: «А точнее?» — «Может, просто вышло горючее».

С тех пор у меня на счету появились и «хейнкели», и «мессеры», и даже «рама», которую я свалил над Марфовой, в Крыму. Но первый бой запомнился до мельчайших

подробностей. Он мне казался самым коротким и бестолковым, но Башьян говорил, что это не так, что я верно выбрал позицию, угол атаки, что глаз у меня верный и из меня выйдет толк,—он это с первого боя понял. «И посадил ты классно,—говорил он,—это главное. Тут особая выдержка нужна». Но я-то знал, что делал все автоматически и даже не успел испугаться: так был расстроен, что «юнкерс» не загорелся.

Мы ни разу не встретились с Сашей на фронте. А могли бы... Я вспоминал 16 ноября 1941 года. Ночь, день, ночь... До 18-го сколько мы спали? Часов по пять в сутки не приходилось. Вылет за вылетом. Мы знали, что пусть немцев будет в десять раз больше, мы будем вылетать им навстречу, мы будем идти на таран, будем резать им хвосты винтами, будем жечь их.

Я любил рассматривать старую карточку, где мой отец, в бекеше, перепоясанный ремнем, с наганом и саблей, со звездой на папахе, стоит на фоне какого-то размализованного садочка. У него лихо закрученные усы и смеющиеся глаза. Он тогда уже, видимо, смеялся над позой и садочком, но чувство юмора не мешало ему видеть главное — и звезда на папахе, и лента наискосок нее пригодятся: надо, чтобы сын помнил, как выглядел отец.

Мы менялись... Все меняется вокруг нас.

Но что-то и остается. А если б не оставалось, стоило ли жить, гоняясь за новым днем?

## КАК САША ПОНИМАЛ МУЗЫКУ

20 октября (ночь)

Очень холодная осень. Топить нечем. Сегодня я принес с наших развалин двери и расколол их. Тетя Лиза плакала: «Как кости свои рубаю», но продолжала колоть щепочки на растопку старым медным секачом, я узнал его.

Вспомнился — далеко, далеко это было — уютный вечер в доме Сторчинских. Горит лампа, идет дождь за темным окном; на большом столе груды капусты, она пахнет свежестью, как будто море пришло в комнату; мы подаем с Борисом тугие кочанчики, а мама его и тетя Лиза шинкуют капусту и, отодвигая, сваливают в под-

ставленные крутобокие бочки. Тетя Лиза стучит большим острым ножом, а мама Бориса — секачом. Он тяжелый, цельномедный. И звук стоит у меня в ушах: так-так-так, и секач: да... да... Соглашаясь друг с другом, они работали, в согласии и жили.

А потом запевала мама Бориса, а тетя Лиза вторила ей. И уже из другой комнаты подхватывали дядя Миша и Сторчинский — хор, куда там современным эстрадам! — и за полночь, забыв уже капусту, убрав ее в угол, за стаканами наливки из терновки или вишни или за вином, медленно прихлебывая его из граненых стаканов, пели песни.

Открывались окна, ночь светила луною, блестели отсветом мокрые листья в саду; в перерывах между песнями тихо скреблась ветка старой абрикосы о край железной крыши да капало с труб в подставленные тазы (на юге берегут дождевую воду, после нее волосы пушатся, хотя и пахнет она всегда железом).

Дети тети Лизы давно спят, привалившись рядышком тут же. Песни они слышат с детства и спят под них, улыбаясь.

Может, потому у моего народа и души романтические? Песня греет душу, лечит раны и бередит их. Как я люблю песню украинскую! Никогда не стыжусь я слез, закипающих в горле, если услышу «Закувала та сыва зозуля» или «Чому я нэ сокил...»

Если и суждено мне стать писателем или композитором, только песня — музыка ее гармоническая, слова ее лаконичные, простые и мудрые — сделает меня художником...

По крайней мере, с нее начинается все.

Слово я ставлю на второе место. Музыка подымает слово, как отец подымает сына над толпой, чтоб он видел далеко. Слово без музыки волнует только тогда, когда оно начинает подразумевать музыку. На этом держится поэзия.

Иногда повтор в прозе — начало такой музыки. Я хочу сказать этим, что музыка не только в нотах. Она — в стройности. Слов, звуков, чувств, мыслей, образов, отношений между людьми...

Гармония была раньше музыки. Музыка сама выросла из первоначальной гармонии. Представить не могу, чтобы два человека, которые чужды друг другу, мог-

ли, например, сложить песню. Созвучие начнется с ощущения понимания и родства. Великие произведения рождаются от любви. Если бы Шекспир не почувствовал Ромео и Джульетту, он не создал бы ни Гамлета, ни Макбета, ни Шейлока. Толстой и Достоевский искали каждый своего бога, но он был один — любовь к людям, страстное, нестерпимое желание им добра.

Музыку же я ставлю раньше слова потому, что она непосредственно выражает гармонию, то есть согласие. Так материнское чувство, пусть оно слепо и неразумно внешне, самым непосредственным образом выражает любовь. И ничто не сравнится с силой и могуществом этого чувства.

Воспоминания нахлынули на меня, сбили с мысли. Я долго лежал в ночной тишине, положив дневник на одеяло.

Музыка... Она доносилась каждый вечер из городского парка. И другая, отдаленная, — из санатория имени Крупской. И еще более отдаленная — из парка «Курзал». Летом долго звучали оркестры. Южная ночь была полна звуками далеких труб. Под нее я засыпал, и она снилась мне, как что-то красивое, чему не было названия, как обещание счастья.

Спал я в саду, под раскидистой абрикосой, у стены дома. Иногда я просыпался от крика котов или свиста и шороха летучей мыши, которая в лунные ночи отбрасывала причудливо-стремительные тени. Долго трещали цикады, звук их доходил отовсюду — из-за кустов сирени, со стороны недалекого колодца, из зарослей жасмина, что рос вдоль забора. И потом, это было уже после того, как смолкали далекие трубы оркестров, порывы ветра доносили песню. Ее пели женщины, которые шли с виноградников. Потом и она становилась все тише, и снова, будто очнувшись, громче вступали цикады. И я засыпал. Вырос я в музыкальной семье. Пели хорошо и мама и отец. Но о моих успехах в этой области я уже рассказывал. Костя Челикиди не привил мне священной любви к музыке. Я неосознанно любил музыку, но способностей у меня не наблюдалось. И все-таки, помню, мне купили пианино. По случаю — уезжал кто-то. В первые дни я выколачивал на нем нехитрые мотивчики, подбирал, как говорится, знакомые мелодии. Потом меня отвели к Марии Викентьевне — старушке, у которой была застарелая астма и привычка пить валерьянку при каждой фаль-

шивой ноте ученика. Можете представить, сколько ей пришлось выпить валерьянки за годы наших занятий! Начали мы, конечно, с гамм, а через два года я играл — ни шатко ни валко — «Лунную сонату» (первую часть), «Сентиментальный вальс» Чайковского и какую-то мазурку Шопена, видимо самую легкую. Было мне тогда лет восемь. Приходил я к Марии Викентьевне с пляжа, в самую жару. У нее было темно и прохладно. Я сидел в одних трусиках; черная моя спина была еще накалена, и поэтому мне нравилось, когда Мария Викентьевна клала на мои торчащие лопатки свою холодную ладонь:

— Боречка, не сутулься. Прямее. Так.

Когда мне купили инструмент, житья мне не стало.

— Теперь мы удвоим усилия, Боречка. Тебя и так все обогнали.

Удвоили усилия мы так: домой мне задавали ужас сколько. Но я нашел радикальный выход. Саша, который занимался у нее с семи лет и играл отменно, сказал мне, что Мария Викентьевна тоже имеет слабости. Она запоем читает детективы. В Анапе уже нет таких, которые бы не прочитала Мария Викентьевна. Дома у нее библиотека не умещается, старые книги лежат в сарае. Он говорил это серьезно, без всякой задней мысли. Но меня тут же осенила мысль: я почти был уверен в успехе...

Ночью, когда все уснули, я, преодолевая зевоту, вынул из-под подушки фонарик, черную полумаску с резинкой, которая была мне необходима для того, чтобы не быть узнаваемым, и пошел по улице, прячась в тени заборов.

Во дворе Марии Викентьевны росла айва, ветки которой лежали на заборе. Минутное дело подтянуться на руках, и по дереву перебраться на крышу сарая. Спрыгнуть беззвучно, как индеец, тоже пустяковое дело. Я сидел на корточках и пережидал, пока луна, так некстати вышедшая из-за туч, не скроется снова. Потом отодвинул железную щеколду и вошел в сарай, прикрыв за собой дверь. В сарае пахло мышами и пылью. Очень хотелось чихнуть, но я потер переносицу, и все обошлось. Включив фонарик, обнаружил, что книги действительно лежат горой вдоль одной из стен. Они были покрыты старой клеенкой. Я осторожно вынул несколько томов, одинаково ветхих, и, сунув их за пазуху, таким же путем вернулся домой.

Спать расхотелось. Но заниматься книгами я не стал. Операция прошла благополучно и почти без приключений.



Почти — потому что, возвращаясь, я испугался, взглянув на свою раскладушку: там кто-то лежал, укрывшись с головой. У меня отнялись ноги, но тут же я вспомнил, что сам придумал эту горку из одеял на случай, если бы мама вышла проверить, не замерз ли я.

На следующий день книги были разложены на столе, появился клей, ножницы, шило и дратва с толстой иглой...

Мария Викентьевна прижимала книгу к пышной груди с большим широким жабо, и слезы дрожали на ее ресницах.

— Я всегда чувствовала, что ты необыкновенный мальчик. Ты просто еще не раскрыл себя!

Любопытство мучило ее, и урок прошел как-то слишком быстро. Мария Викентьевна была рассеянна и часто смотрела на большие часы с выскакивающей кукушкой. Кукушка явно была со мной в заговоре и куковала насмешливо. Я впервые ушел без домашнего задания.

На следующем уроке у Марии Викентьевны блеснули глаза. Она держала книгу на коленях и, дирижируя такт, продолжала смотреть в нее. Правда, когда я брал фальшивые ноты, она по-прежнему морщилась и отрывалась от чтения, но в остальном у меня наступила вполне сносная жизнь: уроки она забывала, была рассеянна, часы занятий явно имели тенденцию постепенно сокращаться.

Через три дня Мария Викентьевна снова прижимала к груди новый детектив.

— Ты — милочка, ты — отзывчивый и добрый мальчик. Как тебе удастся доставать такие книги?

— Я еще много достану, — скромно потупившись, пробормотал я.

На этот раз мы как-то и не занимались. Едва я начинал играть, как Мария Викентьевна говорила:

— Странно, странно, я где-то это читала...

И задумчиво вперяла взор в окно. Там стояла коза и объедала акацию, но моя учительница смотрела и не видела.

— И потом, это похоже на «Убийство на чердаке»! Конечно же! Он подозревает ее, а она — его. Но почему роман называется «На дне океана»? Разве в Венгрии есть море? А, Боречка?

— Мы этого не проходили, — сказал я, чувствуя, как у меня пересыхает во рту.

— Конечно, нет, — смущенно сказала Мария Викентьевна, но на всякий случай добавила с надеждой: — Впрочем,

тут так все запутано, что голова идет кругом. Так, так... Она пришла к нему в восемь часов... Калитка была открыта... Ты взял бемоль, бемоля там нет... Он взял молоток и вышел на цыпочках... Пиано, пиано! Не надо бить по клавишам... Но он не мог ударить ее ножом! Откуда нож у него? «Палуба была скользкой...» Какая палуба, почему палуба? Я с ума сойду...

Мария Викентьевна положила книгу и ушла в соседнюю комнату в поисках валерьянки. Я взял книгу и увидел, что мой метод, удавшийся мне в прошлый раз, на этот раз дал трещину. Я склеивал разные главы и страницы из разных романов безо всякого смысла. Я зарвался. Я схалтурил.

Но остановиться я уже не мог. Еще пять раз я доставлял Марии Викентьевне радость узнавания давно прочитанных детективов и глубокое горе, когда она не могла свести концы с концами.

Сам того не предполагая, я вырыл себе могилу.

В один прекрасный день, придя к учительнице музыки, я увидел фантастическую картину. Еще не доходя квартала, почувствовал запах гари и летящую сажу. Открыв калитку, я все понял. Посреди двора был разложен огромный костер. Саша носил пачки книг из сарая, а Мария Викентьевна с видом Наполеона, скрестив руки на пышной груди, с покрытым сажей бантом и с высоко поднятой головой стояла у костра. У костра инквизиции. Она жгла то, чему поклонялась.

Так я отучил мою учительницу от чтения детективов. Но так я и перестал заниматься музыкой.

Я пришел домой и сказал, что не могу. Не могу, и точка. Слишком много напряжения и смекалки требовала эта игра на фортепьяно. И хотя я знал, что искусство требует жертв, но для меня жертвы казались чрезмерными.

А Саша — другое дело.

## КАК САША ПОНИМАЛ НОТЫ

Хотя мы и были с Сашей неразлучными друзьями, мы, оказывается, многое воспринимали по-разному. Это видно хотя бы по тому, что помнил он и что — я.

Я помнил кожей, запахами, фактами.

Он помнил мыслями, идеями, воображением, фантазией.

Наверное, это разная память.

Но я с интересом и каким-то новым чувством углубился в чтение дневника. Как будто я читал не Сашины записи, а какого-то чужого человека, от которого можно было ждать самого неожиданного...

Я люблю каждый звук рояля, но по-разному. Если бы кто-нибудь прочитал эти строки, меня бы высмеяли или сочли сумасшедшим. Попробую записать для себя то, что чувствую, когда нажимаю поочередно клавиши.

До (первой октавы) — ощущение твердости. Это голос командира. Непререкаемость.

Ре — серая птица вроде воробышка. Неуверенность. Недосказанность. Неопределенность. Вызывает раздражение, хочется освободиться от чувства неполноценности. Сумерки, время суток, которое особенно не люблю.

Ми — очень сочный звук. Ясный, трубный. Напряженность силы. И влажность в нем. «Виноградный» звук...

Фа — коричневый звук, приглушенный, плюшевый, как игрушечный медведь. Вызывает ощущение замотанного шарфом горла, насморка.

Соль — самый простой, солнечный, суховато-короткий звук. Все ясно и просто, звонко и беззаботно.

Ля — самый мягкий, певучий, «мокрый» и женственный, немножко стыдный, как губы, которые хочется поцеловать...

Си — самый резкий, истеричный, нервный, синефиолетовый, сиреневатого оттенка. Неспроста в такой гамме написан «Демон» Врубеля.

Разные и полутона. Из них до-диез — воинственный; ми-бемоль — глубокий и полный обертонов, бархатный, как шмель, с букетом роз: такой же пряный и долгозвучающий в воздухе; си-бемоль — очень красивый звук, благородный, как рыцарь, полный удивительного достоинства.

Мне всегда хотелось понять, с чего начинается музыка. В симфониях звуки спорят и соглашаются, строятся в темы, а эти темы рассыпаются, как солдаты под натиском неприятельского огня. Но потом они снова смыкаются в ряды. В музыке есть и убитые. Их всегда жалко. Есть раненые. Когда повторно появляется тема

березки в Четвертой симфонии Чайковского, последняя нота лейтмотива искажена и ее боль передается нам: почти физически чувствуешь, видишь — сломана ветка, стекает сок, листья обмякли и вот-вот коснутся земли...

В музыке ничто не пропадает — из радости получается горе, а из него рождается надежда. Те же звуки, попав под дождь каких-нибудь альтовых тремоло, уже заштрихованы грустью, и туча контрабаса закрывает их, и уже солнечные валторны все реже проглядывают сквозь свист ветра флейт и листьями несутся желтые всплески гобоя, и гром турецкого барабана сопровождает молнии скрипок, и море тубы и виолончелей раскачивает волны и накатывает их на берег... И все смолкает и наступает тишина ожидания.

Музыка начинается в природе. Звучит зеленоватая Венера в зеленоватой же заводи послезакатного неба. Пульсируют солнечные блики на утренней воде, когда она мерцающе неподвижна и сквозь нее виден ход краба, идущего боком, и неслышно звенят пузырьки воздуха от его дыхания...

Капает капель с сосульки. Она висит на краю крыши. Ее видно мне из окна. Она чуть голубоватая и совсем прозрачная. Я болен. Выходить нельзя, но уже встаю. Капля падает на край кирпича и иногда промахивается — виноват ветер. Тогда звук звонкий — она падает на край желоба. Цинк резонирует как камертон. Я слушаю стук капель часами. В нем скрытая жалоба и свой ритм. Мне кажется, что между вторым и третьим ударом по кирпичу, если за первый принять падение капли на желоб, есть небольшая пауза. И я вдруг вспоминаю строки:

«Та-та... — капнет и вслушивается:  
Все ли он один на свете?»

Никакого «та-та», разумеется, нет. Это я просто забыл слово, которое там стоит. Но капли, что падают во время вынужденной паузы, очень мне нравятся. И много раз повторяю эти строки и вместо «та-та» как бы подставляю звук капель с сосульки. И понимаю: сад «вслушивается» — нужно дать ему время прислушаться, отсюда и пауза. И мне хочется, чтобы в стихах не было слова, которое я так к месту забыл...

Вот прочитал эту запись, а вспоминается свое.

Мы на крыше Сашиного дома. Летняя ночь — ясная, тихая. Звезды. Мы смастерили телескоп и смотрим на луну. Она в телескопе еще более туманная, но немножко крупнее. Саша видит на ней какие-то «странные фигуры, которые все время меняют очертания», а я — глаза уже слезятся — ничего не вижу.

— У тебя же лучше зрение! Смотри внимательно — справа вверх диска! — Он сердится, нервничает.

И я верю, начинаю верить, что мы сделали открытие. Увидел Саша, но он говорит:

— Мы сделали открытие.

Я волнуюсь, стараюсь представить, какие последствия ожидают человечество и нас в результате сегодняшнего открытия. Мы некоторое время молчим, погруженные каждый в свои мысли. Наконец Саша говорит:

— О чем ты думал?

— А ты?

— Я спросил первый.

И я рассказываю:

— Нас вызывают в Москву. Мы едем сами, хотя родителям тоже хочется присутствовать при докладе. Я делаю сообщение. Ты показываешь карту Луны... Штернберг встает и говорит...

— Штернберг умер.

— Ну, другой профессор... И вот мы едем по улице Горького на Красную площадь, и люди с балконов бросают цветы и листовки. Помнишь, как после «Челюскина»? А ты?..

— Я представил, как строится лунолет, как мы летим на Луну... Как открываются каналы нам навстречу, поглощают лунолет и закрываются снова... И тьма, и музыка, прекрасная музыка, и мы с тобой становимся взрослыми и не сразу узнаем друг друга... Зажигаются какие-то лампы зеленым, красным и снова зеленым светом. Мы выходим на поверхность по винтовым лестницам. Ступеньки, как клавиши — у каждой звук свой... На Луне звенит все — ветер поет, дрожит небо и лучи, как павлиньи перья. Земля далеко-далеко... Зеленая. Мы плавно и легко летаем над Луной. И голоса... мамы, ну, Лены... доносятся в наушниках тихие, далекие...

— А потом нас встречают на Земле.

— Нет, это уже не интересно, — почему-то со вздохом говорит Саша.

Память услужливо вылавливает еще одну картинку нашего детства.

Мы катаемся на коньках. Это огромное событие. Лед в Анапе! У нас же нет зимы, в лучшем случае снег выпадает на два-три дня. А тут завернул холод, да какой! На море — припай. Это значит, море замерзло у берега метров на триста. Все мальчишки Анапы скользят по тонкому, пузырчатому, зеленоватому льду. Под ним видны водоросли. Кое-где они прилипают снизу, и это очень красиво. Кто-то уже провалился, но здесь, на пляже, мелко. Смех, скрежет и свист коньков. У многих их нет, катаются прямо на подошвах, на привязанных чурках.

У меня — «снегурки». Я даю один Саше. Мы, подпрыгивая, катаемся, на одном коньке каждый. Разрумянившаяся толстушка Флора, крест-накрест повязанная серым пуховым платком, просто бежит за нами. Саша — рыцарь. Он садится на лед и снимает конек вместе с ботинком. Он надевает его на Флору, а сам, поджав ногу, стоит на берегу, как аист, опираясь на грибок, потом садится на скамейку и держит разутую ногу в руке. Потом он сидит на корточках над полыней и знаками зовет меня.

— Слышишь?

Вода звенит отколовшимися льдинками о край полыни. Лед истончился, и солнце переливается в нем при каждом толчке волны.

— Слышишь?

Глаза его полны восторга, он весь дрожит от холода и счастья.

И мне кажется, что через много лет пахнуло на меня дыханием того зеленовато-красного от солнца, радужно-соленого льда, холодом подледного моря, донеслось звонкое теньканье льдинок и шепот:

— Слышишь, ты слышишь?..

## О ТАВРИЯ, ТАВРИЯ!

Дальше в дневнике Саши были какие-то пропуски и без всякой даты шли слова:

Военком сказал, что завтра я пойду на Керчь с врачами и медсестрами. Там нехватка медперсонала.

А шторм не стихает. Сегодня он еще сильнее. Ходил к синоптикам, они говорят: никакой надежды нет до конца следующей недели.

Разбираю и собираю наган.

21 октября

Немцы под Ростовом.

Пришло письмо от Бориса. Он уже летает, но в бою еще не был.

Шторм продолжается. В восемь с половиной баллов идти рискованно, но выхода нет. Уходим вечером, как стемнеет.

28 октября

Вот и все позади. Врачей и других доставили. Шли без огней до самой Керчи. Но в бухте немцы навесили осветительных ракет, и было как днем. Бомбили порт, причалы временные и постоянные. Что-то горело в порту и рвалось. Наверное, боеприпасы. Нас обстреляли штурмовики, и перед самым берегом ранили четверых — капитана, медсестру Катю Новиченко и двух врачей, одного — совсем старенького. Катя умерла на моих руках. Она все время дергалась, как будто хотела вырваться.

Я мыл руки и тер песком, когда на меня закричал капитан: «Ты что психуешь!» Я и не психовал. Мы сидели на берегу, как было условлено. Ракеты вспыхивали теперь изредка, и тогда были видны на мокром песке четыре тела, накрытые шинелями. Одно из них было холодное, как ночь. Я просто хотел отмыть кровь, а не психовал.

28 октября (ночь)

Навестил капитана. Он лежит в госпитале. В том самом санатории «СКВО», который мы с Борисом называли индейским. Там работала моя мама... Теперь все санатории превращены в госпитали.

Рана в голову не опасна, а вот в руку — плохая: перебита кость. «Отплавал, — сказал капитан и сразу стал кричать, зачем я ему принес барабульку: — Что, я ее одной рукой чистить буду?» Я сказал, что почишу. Он разорался еще больше: «Это пускай тебе мамочка

чистит!» Я сказал, что маму убило еще в августе с самолета, когда она стояла в очереди за хлебом. Он помолчал, а потом сказал: «Ты вот что, не обращай на меня внимания, когда я кричу... Я такой — псих...»

4 ноября

Почта идет очень долго. Видно, потому, что немцы перерезали дороги с севера. Вчера зашел на почту. Там груды неразобранных писем. Идет дождь. Постоял и ушел. «Тебе что, морячок?» — спросила девушка и засмеялась.

Тетя Лиза меня, кажется, выходила. Температура почти нормальная. Кашель проходит. Делал Тобику будку. Он пснял, что надо утепляться, и носил мне в зубах доски — вот умница!

Много играю на пианино. Это инструмент Сторчинских. Сохранила тетя Лиза. Хороший она человек. Все делает для других. Вот она и не родная мне, а с ней легко и просто. А бабушка Параска... Теперь мне жаль ее, живет одна. Но я ей не прощу никогда, что она разлучила папу с мамой.

Единственным человеком, кто жил с бабкой Параской в мире, был я. Ей много лет, но любит самостоятельность во всем. Живет она в большом красивом доме. Откуда у нее средства, никто не знает, говорят, какие-то накопления. Во дворе — сад, цветники, веранда, на которой она — хоть проверь часы! — годами в одно и то же время пьет чай с вареньем из айвы. Потом гадает на картах или сама с собой играет в подкидного дурака. И ругается сама с собой. Бабка Параска хитрая, никакая она не чокнутая, как думают соседи, слушая ее ссоры с самой собой. Мама Саши при жизни с ней виделась раза два, не больше. Бабка оскорбила ее сразу же после свадьбы. С тех пор, как говорила тетя Ганка, и начались у нее ссоры с отцом. Она говорила Саше: «Сынок, бойся бабки Параски, не верь ей...»

А я, хоть и редко виделся с бабкой, дружил с ней. У нас были заговорщицкие отношения. Она хитро смеялась, открывая мне калитку, разрешала сразу же лезть на шелковицу, а когда я с перемазанными красными губами слезал с дерева, звала меня за стол, где мы пили чай с айвовым ва-



реньем и какими-то неправдоподобными по черствости пряниками, которые извлекались из красного кованого сундука. Бабка долго и торжественно развязывала вышитый платочек, разворачивала его дрожащими коричневыми пальцами, пахнувшими ладаном, и доставала пряники. Им, этим пряникам, было не меньше ста лет, наверно. Потом мы весело резались в карты. Тут бабка преображалась, хитрила, норовила порой скинуть лишнюю карту, крестилась и божилась, что не подглядывает, и хихикала, если ей удавалось меня обставить. Но все это была увертюра. Действие началось потом.

Наступал вечер, высыпали звезды, бабка накидывала на плечи платок и становилась неузнаваемой. Речь ее звучала грустно и серьезно. Она рассказывала мне сказки про черта и ведьмачку, красивые истории про то, как в их селе Кобеляки русалки запросто приходили к парубкам по ночам и привязывали усы к ножкам стола или как одна дивка, полюбив парубка, три дня и три ночи скакала за ним на коне, когда он пошел походом на басурман, догнала его ночью и, пока он спал в степи под звездами, заколдовав, вернулась в село.

А тем временем казаки с боем дошли до Бахчисарая; много их полегло в том краю, только одного Опанаса заколдованного сабля вражеская не брала — как замахнется басурман, так его, Опанаса, вроде бы и нету на коне. Только конь волнуется, бегаёт, ржет. Дивился Опанас: что это за чудо, что он для басурманской шашки заговоренный? И так привык, что и не защищался от врагов, просто рубал их и смеялся...

Но в одном бою ударил его саблей вражина, и упал он на траву бездыханный, кровью чистой залил он гриву белого коня своего. Поскакал тот конь домой. Увидала его девушка-чаровница, и сжалось ее сердце: «Что ж я наделала, горе мне, горе!»

А дело было в том, что заколдовала она любимого таким словом: «Пусть ни один басурман тебя саблей не тронет, пока я любить тебя и помнить буду...»

Ждала милого три года, да как-то вечером шла с колядок, глянул на нее чернобровый казак приезжий, как огнем обжег. Забыла чаровница свой зарок и глянула на парня нового с любовью.

Наутро встала — голова кружится, сама не знает, что с нею. А тут конь заржал. Выбежала — грива у него в кро-

ви. Все поняла, закричала, побежала к ставкѹ. Бросилась в прорубь. Навсегда пропала. Только летом выходит, когда кони в ночном, гриву все заплетает белому коню, а когда нет белого, плачет так в голос, что люди крестятся и ставни запирают покрепче...

Таврия! Так называли в старину Крым и юг Украины. Туда ходили в походы наши деды. Там был ранен мой отец, когда выгоняли Врангеля. Там летал я наперехват немецких «юнкерсов» в Отечественную.

Легенда бабки Параски, воспоминания моей мамы, дневник моего друга, моя память — все это сплелось в одну нить, которая туго связала нас с нашими предками.

И я вспоминаю, как меня сбили во второй раз.

Я сел в горящем самолете на выжженное солнцем поле, отполз по колючей траве, пахнувшей горячей полынью степи, и, когда самолет взорвался, обессиленно закрыл глаза. А когда открыл их, в небе Таврии парил орел, царственный и спокойный, как будто не было войны, словно это он сбил меня в небе и теперь торжествовал победу.

Я поднялся на ноги и пошел на восток. По дороге я видел норки сусликов и мышек полевых, белые пятна высохших соляных озер, которые блестели под солнцем, как слюда. Марево клубилось на горизонте. Далеко на западе глухо ухали орудия. Часа через два я дошел до наших.

В командирской землянке было прохладно и темно. Полковник играл в шахматы с военврачом, выставив доску к дверям. Светлый клин лежал на клетках доски и голове полковника, подпертой рукой с нашивками на рукаве. Я заметил, что двух белых пешек у него не хватало, их заменяли металлические пуговицы от гимнастерки.

— Сдаюсь, — мрачно сказал полковник.

Когда я представился полковнику и его партнеру и расположился на отдых, военврач, которого я поначалу как следует не рассмотрел, взял пуговицу со стола и начал пришивать ее, стянув с себя гимнастерку. В свете дверного проема передо мной маячила костистая спина с большой темной родинкой на правом плече, величиной с блюдце. Он что-то говорил полковнику, и тот назвал его Иосифом... Родинка и имя напомнили мне Иосика Самборского, дрыгающего ногами в траве, с носом, вымазанным вареньем.

— Простите, товарищ военврач, как ваша фамилия?

— Самборский,— ответил он.

Так мы встретились с Иосиком на фронте. Странно, но на свету я сразу узнал его, хотя прошло более десяти лет. Только виски у него были совсем седые, и был он молчалив.

Позднее я узнал, что тетю Сару, которая кормила нас вареньем, добрую тетю Сару, его мать, зверски убили фашисты в Вильно, где застала их война, а отца он похоронил в Белоруссии, пробираясь на восток.

Сейчас Иосиф сидел сгорбившись, седоголовый, грустно улыбающийся, и тихим голосом читал стихи Пушкина. Мы с полковником слушали его:

...Журчит во мраморе вода  
И каплет холодными слезами,  
Не умолкая никогда.  
Так плачет мать во дни печали  
О сыне, падшем на войне.

Слово «падший» мне не нравится: теперь говорят «павший». Это я «падший», с неба упал. «Падший ангел»... А Иосиф читает:

Настала ночь; покрылись тенью  
Тавриды сладостной поля;  
Вдали, под тихой лавров сенью  
Я слышу пенье соловья;  
За хором звезд луна восходит;  
Она с безоблачных небес  
На доли, на холмы, на лес  
Сиянье томное наводит...

И мне становится грустно.

Я помню Бахчисарай. Мы приезжали сюда с мамой и папой. Он запомнился мне тогда только невыносимой жарой, собаками в репьях, которых мне не разрешали гладить, и тем, что все было «закрыто на ремонт», в том числе знаменитый фонтан.

Отъехав в поле, почему-то долго стояли. Все вышли на рельсы и бросились рвать дурманяще пахнущие цветы — фиолетовые и розовые. Папа нарвал целый букетище, но проводник заставил выбросить их:

— Что вам, жить надоело?

В соседнем купе стало плохо какой-то женщине. Это были «лекарственные травы». Вот и все, что я помнил о Бахчисарае.

А теперь он у немцев. И кажется, что они оскорбили даже Пушкина...

Ночью полковник и Иосиф попрощались со мной. Проводник — солдат морской пехоты — повел меня к морю.

В скалах, едва видных на фоне моря, был проход. Мы спустились по тропке к самой воде. Там меня ждал катер.

Моряки в штормовках с капюшонами были похожи на монахов. Они молчали всю дорогу. Катер шел быстро. Берег долго был виден темной, неровной полосой. Потом я спал, укачанный крупной волной.

Прощай, Таврида!

## ОПЯТЬ САШИН ДНЕВНИК

Листки, оборванные и обожженные по краю, кончились. Далее шла тетрадь. Синяя, с рисунком по обложке: кот ученый ходит вокруг дуба. И стихи пушкинские.

Я перевернул обложку и начал читать не отрываясь.

7 ноября

Плохо сплю. Может быть, потому, что не могу забыть прошлой и позапрошлой ночи. Мы ходили за ранеными в Керчь. В середине пролива опять нас бомбили. Первая же бомба чуть не опрокинула катер. Нас залило, и катер дал крен. Это было на обратном рейсе. Вторая бомба разметала соседнюю баржу. Мы спасли человек пять, трое из них раненые. Все остальные пошли ко дну. Люди кричали и тонули. Ничего не было видно. Мы шли с большой перегрузкой и зачерпнули здорово, не могли останавливаться. И кто-то из наших раненых отвратительно крикнул: «Не берите их! Мы потонем!» Он так кричал, что Гриша Близинок дал ему по морде. Сегодня в санатории имени Крупской хоронили четверых наших раненых. И того, что кричал, тоже... Видно, сдают нервы. Лучше бы меня взяли на фронт!

Наступает отупение от чужого горя, которому я не в силах помочь. И потом, я чувствую себя свидетелем на войне, а не участником. Что с того, что моя работа «тоже нужна»?

Давно не вел дневник. Пишу в госпитале. Постараюсь вспомнить все по порядку. Хотя это не просто. Вижу уже хорошо. Но семь дней я пролежал с черной повязкой и думал, что останусь слепым.

Итак, по порядку. Мне удалось все-таки попасть в формирующиеся части 56-й армии. Я попал в группу войск «Центр».

28 и 29 ноября был в бою. Пулеметчиком. Под Батайском меня контузило, но я участвовал в форсировании Дона. Шли мы по льду. Лед тонкий, трещины бежали одновременно с нами, и треск льда повторял разрывы. Иногда бежать приходилось в сплошном ядовитом дыму — кто-то закричал, что это газы. Но ветром отнесло дым, и мы увидели худшее: на том берегу укрепления в два рубежа на разных уровнях. Немцы били нас из орудий и минометов. Лед то и дело проламывался, и кто-то шел под воду. Я оглянулся, наши отступали по черному льду, лавируя между полыньями. Весь Дон поперек и вдоль был усеян телами. Я и еще человек десять залегли. Немцы с криками пошли в контратаку.

Пулемет заклинило, вернее, перекосило ленту. Я вынул гранату и стал ждать. В ту минуту я спокойно ждал конца. Знал, что взорвусь, когда подойдут немцы. Но они почему-то повернули назад. И стало очень тихо. У меня так заоченели ноги, что я не мог ими двинуть. Часа через два мы попробовали отползти назад, но нас накрыли минометным огнем. Мне кажется, я один остался жив. Утверждать не берусь, так как я потерял сознание и пришел в себя только в полевом госпитале. У меня отморожены ноги и тяжелая контузия головы. Видимо, меня хватануло куском льда, вдобавок к первой контузии под Батайском.

Короче, сегодня я уже вижу отлично. Пятого сняли повязку, но я так боялся наплывов темноты, что долго не решался открывать глаза после того, как начиналось это противное гудение и свет мерк.

Наша часть уже за Ростовом. Ростов взят 29-го. Этой ночью, когда мы шли в атаку по льду реки, артиллерия отстала: мост был разбит, а по Дону могла пройти только пехота. На нашем участке ночная атака отбивалась

фрицами дважды, но на третий наши взяли укрепления, и бой переместился в город.

Если мне не удастся догнать своих, будет грустно. Я так привык к ним за эти два дня! Жив ли старшина Бабкин? Коля Воробьев? Саркисян, говорят, ранен, но остался в строю. Почему я потерял сознание! Слышал от раненых, что наша часть уже где-то у реки Самбек. Наступление наше остановлено.

Писать все-таки трудно. Дрожит рука.

27 декабря

Пишу в Анапе. Страшный норд-ост рвет провода, гудит в трубе. Сегодня высадка отменена. Я опять возвратился сюда. Опять хожу с катером. Капитан—Гриша Близнюк. В ночь на 25-е в шторм из Темрюка пытались высадить бойцов 44-й армии. Ничего не вышло. Часть застряла в ледовом припае, часть пошла ко дну от перегрузки. Многих потопили немцы, остальные вернулись. Я ходил на мыс Хрони, под Камыш-Бурун, севернее Эльтигена. За 26 декабря мы перевезли около трех с половиной тысяч. Нас тоже бомбили, тем более что мы высаживали и днем. Видели, как рвались боеприпасы, как баржа взлетела на воздух.

Говорят, что немцы снова сбрасывают наших в воду, как только мы уходим за пополнением, но я думаю, что это говорят паникеры.

Бои идут страшные. Ночью с нашего берега видно зарево в стороне Керчи. Прикрывают высадку огнем военные корабли.

Последний рейс оказался особенно трудным: немцы встретили плотным огнем, мы отошли. Потом мы, на свой риск, взяли чуть левее и между скал, прямо в ледяную воду, высадили десант. Солдаты вступили в бой раньше, чем мы легли на обратный курс.

Главное, работаешь и ничего не знаешь, как там твои ребята — живы ли, держатся, закрепились? Все новые и новые идут корабли...

30 декабря

Немцы оставили Керчь. Оставили сами, боясь окружения. Армада наших кораблей высадила десанты и поддержала их в районе Феодосии. Немцы оказались

«в мешке». До сегодняшнего дня мы бесперебойно выгружали грузы и технику в район Керчи. Самолетов противника не видно.

Поразительное ощущение—пролив имеет чистое небо! Десантники смеются, шутят. Установилась и погода. Море холодное, суровое, но спокойное.

«Красный Крым», «Красный Кавказ», лидер «Харьков» и не менее 30 более мелких посудин пошли на Феодосию.

Говорят, мы высадили два парашютных десанта.

Странное наблюдение: природа, воспринимаемая в разном состоянии, имеет свой особый психологический портрет, а этот портрет, запоминаясь, потом делается каким-то постоянным клише.

Поясню: предположим, ты идешь на катере и посматриваешь на небо — вот-вот покажутся самолеты. Вода кажется особенно глубокой, и цвет у нее какой-то пронзительный, и берега отчетливее и резче, и кажется ненастоящим все, а призрачным, условным, что ли. Море — не море просто, а среда, готовая принять тебя навсегда; и ты не можешь относиться к этой среде, как к воде: она для тебя пугающая и одновременно тянущая к себе сила, и ты поневоле всматриваешься в нее по-новому, не так, как смотришь на нее, когда идешь с мирным рейсом.

Земля — далекая и недоступная, когда отходишь от Анапы, ощущается домом, теплом, красотой олив, шумом тихим и таким родным, что сжимается горло.

А вот тот берег, крымский, знакомый не меньше, чем кавказский, наверное, навсегда останется для меня желтым призраком тревоги и опасности. Сама конфигурация берега, невысокие серые холмы, особый, притаившийся шорох волны, напряженный ветер, дующий не так, как у нас на Кавказе, едва уловимые запахи железа и пороха, смешанные с запахом гниения водорослей,— все это вызывает странно-волнующее, особое ощущение напряженности, когда мышцы как бы сами по себе становятся упругими.

Наверно, после войны я снова в Крыму испытаю эти чувства.

Но война оборвала многие связи с прошлым, сделала их воспоминаниями, а не живым чувством. И с этим ушло ощущение остроты переживания каких-то деталей,

предметов, которые раньше вызывали волнение, ни с чем не сравнимое.

Вот я писал уже, что пережил свое чувство к Лене. Недавно заставил себя пойти к ее дому. И ничего особенного не почувствовал, глядя на запущенный, забытый дом, желтые стебли кустов, среди которых запутались желтые ломкие газеты, обрывок почерневшей от дождей веревки, которой был привязан гамак, даже брошенная туфля, косо торчавшая из земли, не вызвала никакого умиления и теплоты.

Все прошло, все вспоминается, как что-то детски-нелепое, нелогичное, непонятное, курортно-незначительное; это нельзя было поставить рядом с кровью, ветром, верностью случайных, но на всю жизнь остающихся в памяти сердца попутчиков, серьезностью мыслей о долге, мужестве, достоинстве, радости жизни...

Странно, очень странно... Он рос, менялся, вырослел и видел в изменении себя какое-то благо, какую-то успокаивающую закономерность. Так радуются дети, что они растут, что взрослые это отмечают. Он торопился жить, отказывался от прошлого, оно его не держало.

Я же... разорвался где-то по пути — так меня держало детство. Так пленительно, как любил говорить Пушкин, было все там, в солнечном и беспечном возрасте незнания. И между тем и этим берегом течет какая-то незнакомая и грозная река непонятного времени. И я стою там, на дальнем берегу, и кричу, приложив ладони ко рту. И хочу, чтобы на этом берегу меня услышали!

## **КАК Я СТАЛ УЧИТЕЛЕМ...**

Я отложил листы Сашиных записей и задумался.

Кто я? Что я? От какого-то места, с какого-то часа я могу думать о себе и оценивать свою жизнь. Но она резко разделена для меня на «до войны» и «после войны». На войне и после все видно отчетливо, раньше — веселыми всплесками, яркими точками. Но вместе моя жизнь почему-то не соединяется. Я не знаю, как это объяснить...

Тот маленький Боря почему-то мне ближе. Может быть,



то, что начиналось как «я» и было прервано войной, стало иным? Или взрослые всегда относятся к своему детству, как к отдельной от них жизни — все это было, мол, как во сне, не с нами?

Я стал присматриваться к ученикам: какие они? Но и мои «подопытные» дети казались мне не совсем такими, каким был я. Тогда я решился на такой эксперимент. Я решил поехать на целину, организовать там школу. Рассуждал я просто: мое детство казалось мне детством более естественным; ведь вырос я на природе, в провинции; бывало, целыми днями на берегу моря, или в море, или на острове Утриш, и так до самого первого дня войны, пока не позвали нас слова из черного радиоприемника. Там, на целине, так я рассуждал, я вернусь к своему началу — среди детей, которые ходят по степи, ездят верхом на неоседланных конях, охотятся с отцами, работают в поле, пасут скот, — обрету покой понимания и себя и связи времен. Может, это вам покажется непонятным? Так я объясню. Каждый человек должен жить полной и здоровой жизнью, обладать здоровой памятью. Нам нечего стыдиться, нечего забывать. И человек и народ для того и изучают, например, свою историю, чтобы знать все о своем пути из прошлого в будущее. Если же человек забывает то, что было, или старается забыть, он просто выключает себя из истории. Когда забывчивость — свойство одного человека, его личная беда, плохо ему одному. Но вот забыть то, что было с народом, — грех непоправимый. Потому я и люблю свой предмет — историю.

Когда я демобилизовался и пришел в университет, я уже знал, что буду историком. Я жил историей, помнил ее пороховой запах, хотел твердо заучить ее жестокие законы, передать детям свои знания как предостережение и опыт отца.

В 1954 году, ранней весной, я вылетел в Алма-Ату.

Когда я приехал на целину, в район Кызылтусского целинного района, там под гигантскими курганами из снега, как доисторические животные, застыли комбайны. Их завезли в январе, а весь февраль валил снег. До места от железной дороги ехали километров двести по морю снега, то неподвижно блестящего под латунной луной, то курившегося пургой. Машины шли длинной колонной. Я сидел в кабине, рядом с водителем — ленинградским пареньком, который рассказывал до хрипоты разные истории, чтобы не заснуть. И все-таки он задремал, и колеса на десять сантимет-

ров ушли в сторону — это означало, что задние машины прочно встали. Машина сидела по диффер в снегу. Впереди нас шел снегоочиститель, а мы, третья колонна, шли в глухом, двухметровом коридоре-траншее. До утра мы откапывались и погружались еще глубже.

В аиле мы жили в землянках, так как все юрты оказались занятыми. Весной, когда снег стоял и полетели с криком утки, я начал учить детей в длинном сарае, переоборудованном под школу по моей просьбе. Ребят было много. Они ехали и шли из соседних аилов. Кроме казахов, учились у меня и русские дети — дети специалистов, рабочих совхоза. До этого все они ездили на машине в райцентр. Мне прислали трех выпускников педучилища; меня назначили директором и учителем русского языка, литературы, географии и истории. Преподавал я и военное дело и труд.

Мы вместе с комсомольцами откапывали в марте комбайны и собирали запчасти — ржавые гайки, болты и разводные ключи. Это было уроком труда. А когда подсохло, ходили на уток в плавни. Спали на земле, на подостланных кожах. На зорьке, когда зеленоватая огромная луна бледно светила с одного края неба, а красное солнце растекалось разорванным желтком с другого конца, раздавались первые выстрелы. Черные птицы с криками, рвущими душу, проносились над камышовыми зарослями и, как подбитые ястребки, врезались в туманные заводы. Это были уроки военного дела.

Географию мы учили тоже в степи, ориентируясь по звездам или беседуя о дальних странах у костра. Когда стало пригревать солнце, из сырого сарая мы перебрались на пустырь, где разрешалось даже загорать во время уроков. Хилые, тщедушные тельца моих учеников доверчиво были подставлены великодушному светилу и весеннему ветру, который уже пахнул весной.

Мои методы учебы не были поддержаны приехавшим инспектором, и уже летом, накануне экзаменов, школу расформировали, а меня рассчитали. Теперь я с улыбкой вспоминаю те дни. Выперли меня за дело.

Дети провожали меня огромной гурьбой. Подошла попутная машина, я сел в кабину, а вещмешок забросил в кузов. Дети стояли молча, сбившись в кучку, как ягнята. Я очень привык к ним. Оглянулся на повороте. Они все так же стояли в пыльном облаке. Девочки махали платками.

Май, 1942

Перечитал дневник, и многое уже кажется наивным. Как я жил эти четыре месяца?

Мне нужно все ввести в берега. Иначе я не умею. Главное — это понять, что руководит мною в жизни. Все туманное, просто сомневающееся, неопределенное пугает меня, как болезнь. Со мной что-то такое началось с сомнения в своем чувстве к Лене. Я несколько раз собирался замолчать, чтобы не длить этот обман, хотя и невольный. Дело в том, что мы ведь об этом не говорили прямо. Лена старается изо всех сил показать, что я ей дорог, будто боясь, чтобы моя надежда на взаимность не была разбита. Она думает, что обман дарит мне жизнь, помогает мне воевать. А мне стыдно принимать такие жертвы, и не нужны они мне. Но как сказать такое! Лене кажется, что она нужна, она не сомневается в этом, а тут такой поворот... И проще всего было бы без объяснений прервать переписку. Пусть думает, что хочет. Но мне ее жаль; в любом случае, это жестоко. А потом, я нужен ей как посредник между нею и Борисом. Ей не с кем говорить о нем. И я решил перейти на одну тему — мы теперь говорим лишь о Борисе. Постепенно он, вероятно, может получить пухлый том воспоминаний о себе. Ну что ж, он заслуживает того!

А тут еще это приглашение. Николай Николаевич, узнав о том, что у меня обострился туберкулез, не без подсказки Лены, разумеется, пригласил меня в Куйбышев. Он уверяет меня, что я смог бы сдать экзамены в Военно-инженерную академию. Сначала я решительно отверг такой вариант, как постыдное использование связей. Но написал, конечно, не так, а сослался на то, что математика была всегда моим слабым местом, но что я подумаю. Вскоре я действительно стал думать, но не об учебе, а о том, что мне, может, удастся оттуда удрать на фронт. В Анапе, где меня «наизусть знали» все врачи и где диагноз никак нельзя было опровергнуть, такая возможность начисто исключалась.

До марта я слонялся по берегу, ждал случайных рейсов. Наши атаквали немецкие позиции, но ходили слухи — безуспешно. Театр военных действий отодви-

нулся сравнительно далеко от Анапы. Ак-Монай теперь упоминался довольно долго.

Дули ветры, шел мокрый снег, мы с тетей Лизой переломали на дрова все, что было можно. Тогда все что-то ломали.

В тылу удручало состояние какой-то временности, жизни вне быта. Судьбы людей не решались месяцами и годами. Они, увы, решались часами.

В течение двух часов, пока я, расставшись с Костей, искал флягу, неизвестно куда запропастившуюся, чтобы взять ее с собой (мы с Костей собирались пойти в Супсах, в горы, за дровами), он попал под бомбежку в районе порта и уже истекал кровью в госпитале, когда я нашел его.

«Что там,— спросил Костя, кивнув на флягу,— керосин?» Это была его острота, и я криво улыбнулся. Он тяжело и неровно дышал. «Что передать дедушке?» — спросил Костя. И это тоже была острота, но уже мрачная. Он изо всех сил старался остричь, бедняга. А что ему оставалось?

У Кости была синева под глазами. Он морщился и держал руки над горой бинтов на животе. Скоро меня вывели.

Хоронили его без меня, так как на следующий день Гриша зашел за мной и велел собираться в дорогу. Военком вручил мне конверт с сургучной печатью. Я ехал в Куйбышев, в распоряжение начальника академии. Сборы были недолги. Тетя Лиза обняла меня, заливаясь слезами, и протянула оловянную ложку, выдавшую виды, с сильными вмятинами от зубов: «Дедушка наш... на турков еще... смотри не потеряй, вернешь мне». Она улыбнулась сквозь слезы.

Я пошел прощаться с городом. Сначала я зашел к Челикиди. Тело его уже забрали домой для прощания и похорон. На покосившейся калитке все так же было написано черной краской: «Не устучи — закурито»... Глупая острота теперь казалась кощунственной. Во дворе толпились незнакомые мне люди. Дверь в комнату, несмотря на резкий ветер, была открыта. Под низким потолком клубился табачный дым.

Зина молча обняла меня. Она не плакала, а только все смотрела удивленными выпуклыми глазами на худое тело мужа под белой простыней. На углу простыни сто-

ял штамп: «Детский костно-туберкулезный санаторий имени...». Дальше краска была размазана. На стене висели фотографии в общей рамочке: Костя с веселой улыбкой, дурачась, обнимает Зину на фоне «выварки», чана, в котором кипятится белье, а Зина с такими же, как сейчас, удивленно-выпученными глазами смотрит, не мигая, в фотоаппарат. Потом Костя, до пояса голый, волосатый сидит верхом на каменной плите, и в руке его молоток. Сколько он сделал этих памятников! А кто ему делает? Напряженно и строго смотрят на нас с фотографии отец и мать Зины, приехавшие в гости из Витязево. Они сидят рядом, сложив руки на коленях, чисто одетые и важные. Все это снимал Борис. А рядом на стене плакат Корецкого: «А ты что сделал для фронта?» Палец бойца указывает на Костю, а он укрылся простыней, будто ему стыдно, что он так ничего и не сделал путного.

Я вышел, закрыл калитку, потом, подумав, достал перочинный ножик и соскоблил дурацкую надпись.

У маяка ветер нес какой-то мусор. На деревянной вышке дежурил матрос. По морю шли свинцовые волны. Я постоял, посмотрел на море в том направлении, в котором что-то выискивал матрос в свой бинокль, и пошел домой, собираться.

## ЛЕГКИЕ СНЫ

*Апрель 1942. Куйбышев*

Гриша отвез меня на мотоцикле в Тоннельную. Там, на горе, было ветрено и холодно. Цементный завод был разбит. Темнело. Мы прошли путями, трижды перелезая под вагонами и через открытые тамбуры. Подошел поезд из Новороссийска. На перроне было несколько человек. Мы обнялись. Гриша хлопнул меня по спине своей тяжелой лапой и сказал: «Ты, Александр, не сердись на меня. Лена просила меня проделать эту операцию». Он развел ручищами. Я понял, что приказ военкома был спровоцирован письмом из Куйбышева, а Грише поручалось довести операцию до конца. Что я теперь мог ему сказать!

Я сел в вагон. Поезд тронулся. Тьма двинулась назад. Огней не было.

Прошел проводник, проверяя шторы. Напротив меня сидел офицер и курил. Потом, в Крымской, сели две женщины в ватниках. Они втащили корзинки, из которых вкусно пахло. Меня начало мутить. Я вспомнил, что ничего не ел с утра. Женщины ехали в госпиталь, к мужьям. Я пересел в другое купе. Тут дуло из темного окна, оно было неисправно. Тогда я лег прямо на пол, положив вещмешок под голову, и сразу заснул.

Я пересаживался дважды: в Краснодаре и Тихорецкой. До Сталинграда ехал с воинским эшелоном, приютившись на открытой платформе, возле ящиков, покрытых брезентом. Лейтенант проверил документы и разрешил остаться. Но в Котельникове меня почему-то высадили и отвели в комендатуру. Пока я ругался со стражей (комендант ходил ужинать), эшелон ушел. Следующий поезд ожидался завтра. На Сталинград шел товарняк, но я и так заоченел на платформе, меня в тепле сморило, и я ни о чем не хотел думать — сел спиной к еле теплой железной печке возле входа в комендатуру в проходном зале и задремал. Меня разбудили, снова проверяли документы, выставили в общий зал. Я считался не военный, несмотря на морскую шинель и мичманскую фуражку. В зале было накурено, но холодно. Ларек, где я мог получить по продаттестату, был уже закрыт. Я дожевывал остаток сухаря, запил его кипятком из прикованной цепью кружки, пахнувшей селедкой, и терпеливо устроился между телами на каменном полу.

Делается это просто: втискиваешься между двумя пахнущими сыростью грязными шинелями, сначала боком, а потом расталкиваешь их в стороны. Они, эти шинели, вздыхают, ворчат, но непременно раздвигаются, так чтобы твои колени вошли в расстояние между скрюченными телами на холодном полу. Всякий уважающий себя солдат должен поворчать или выругаться, но опыт показывает, что самое глупое — обращать на это внимание. Ведь и тот, кто ругается, знает, что чем больше солдат уместится в практически бесконечном пространстве холодных полов России, тем теплее будет ему же самому.

Когда человек долго голодает, ему снятся легкие сны. Мне немало приходилось голодать, и скажу определенно, что в таком состоянии сны ничего не весят. Или тебе кажется, что ты сам летаешь или летают другие, а ты их ловишь, как шарики, они извиваются и тут же

лопаются. А то может присниться, что ты—птица и тебя хотят накормить щами. Торчит грудинка с легким беловатым хрящиком, а ты никак не можешь приладить клюв, он не открывается широко... На голодный желудок могут присниться и не такие вещи, но главное — не просыпаться, так как, проснувшись среди ночи, чтоб почесать поясницу или снять чужой кирзовый сапог с переносицы, ты уже не будешь чувствовать привычной легкости.

Утром меня растолкали, чтобы спросить, не лежу ли я на чем-то мешке, но оказалось, что на моем мешке — мои инициалы. Я снова заснул. Но потом все стали подыматься, встал с пола и я: холод тоже не тетка. И странно, почувствовал себя очень бодрым и отдохнувшим. Отсюда я сделал тот вывод, что главное — не условия отдыха, а сам отдых.

Все куда-то заторопились, побежал и я. На втором пути гудел паровоз. Эшелон тронулся. Я догнал высокий вагон с открытым верхом — купер. По железной лесенке, уже на ходу, забрался наверх. Купер — это вроде самосвала — резервуар доверху наполнен головками от снарядов. Они лежали плотно — смерзлись. Поначалу, сгоряча, я не почувствовал холода, но вскоре мне стало несладко: я не успел поесть, где-то потерял варежки, отсыревшие за ночь портянки холодили ноги так, что боль стала подыматься до колен. Сидеть на ледяных снарядах было невозможно, а стоять трудно — поезд шел все быстрее, ветер резал лицо, приходилось почти лежать, чтобы укрыться за бортом. Но состав уже вплывал между черными пакгаузами. Скрежет, толчок, дальше и дальше к хвосту поезда прошла эта судорога — и вагоны стали.

Это была Сарепта. Светило солнце, шел мокрый снег, казалось, прямо с синего неба. Я скорее сполз, чем слез с купера. С трудом разгибая ноги, шел через бесконечные спутанные пути, блестящие, мокрые и скользкие.

На станции я пил кипяток из котелка и оттаивал. Мне показалось, что я даже опьянел. Потом стоял в длинной очереди солдат за пайком. Поев, долго сидел на солнце, прижавшись к стене пакгауза. Снег не шел. В лужах отражалось солнце. На сухом пятачке рядом с коновязью пронзительно кричали воробьи. Время от

времени из широких дверей склада выходили солдаты с тушами под мышкой и грузили их на телегу. Ноги, мосластые, синие и сморщенные — кажется, это была конина, — торчали из-под брезента. Из пакгауза доносилась ругань, — «не выходил вес», перевешивать солдатам не хотелось.

Телега уехала; вышел весовщик с большим рыжим замком в форме сердца, стал запира́ть дверь.

Спал я в жарко натопленной школе. Портянки дымились на спинке стула против открытой двери голландки, где по-кошачьи мурлыкал огонь. Мне очень повезло: какая-то женщина окликнула меня, когда я медленно брел по улице. Я наколот ей дров, принес два ведра воды от колонки и отказался от платы. Я спросил, нельзя ли мне где-нибудь обогреться и посушиться. Она привела меня в школу, где теперь было общежитие. Ряды коек стояли тесно, но никого не было. Ждали ополчение, чтоб рыть окопы, объяснила женщина. Она оказалась учительницей. Жила рядом, муж был призван. Я посмотрел на ее большой живот, туго перевязанный серым пушистым платком, на ее добрые, печальные глаза и красные руки и ничего не сказал. Жара разморила меня, глаза слипались. Женщина вздохнула и предложила мне переночевать, а завтра ехать в Сталинград. Я так и сделал.

Спал я часов восемнадцать кряду — сам удивился. Машина гудела во дворе. Я наскоро намотал портянки, накинул шинель и выбежал во двор. Меня взяли до Сталинграда, но велели тотчас ехать, и я не успел поблагодарить учительницу. Больше я ее не видел никогда, но почему-то хорошо помню, как она смотрела на меня, сложив руки на большом животе. Это была жалость, участие и любопытство вместе. Мне кажется, она была очень одинока. А может, я ошибся, мне часто на войне хотелось фантазировать, когда я так, мимоходом, знакомился с людьми и расставался, не успев попрощаться.

Столько людей прошло через меня, через глаза, память, душу!.. И все что-то оставили там, какую-то капельку тревоги, чужой судьбы или хотя бы жест, позу, нерасшифрованный взгляд, недоговоренную фразу, невыплаканную слезу, затаенное желание тепла, застенчивость доброты, которую люди оберегали от наглости и непонимания..



На пристани Сталинграда было море голов. Я скис. Трудно было представить, что когда-нибудь и до меня дойдет очередь. Гудели пароходы. Кричали и в разные стороны бежали мешочники. Слышалась непривычная для меня окающая речь. Но когда я все-таки протолкался к кассам, оказалось, что все они закрыты, и люди неделями ждут парохода на Камышин, Саратов, Куйбышев. Я подошел к воинской кассе, когда оттуда выходил кассир. Я спросил его, показав пакет, когда смогу рассчитывать на проезд в академию. Он спросил: «Один?» Я ответил утвердительно. Он вернулся в кассу и, открыв форточку, протянул мне билет. В следующую секунду меня чуть не разорвала толпа офицеров, которые сидели на скамьях и ночевали здесь, видимо, не одну ночь. До сих пор не понимаю, как это мне повезло. Пароход уже готовился отдать сходни, когда я, забросив мешок, взбежал по дрожащему трапу на палубу.

Пароход пытался и гудел, будто оправдывался за меня перед многотысячной толпой, покрывшей склон спуска и деревянные дебаркадеры. Я стоял на палубе, вдыхая свежий, пахнувший рекой ветер. Речная вода пахнет иначе, чем морская, — сырым бельем. Волга была свинцово-белесой и просторной. Даже после моря она производила впечатление величавости. Может быть, потому, что берега ее низки, горизонт казался бескрайним. Белые облачка плыли высоко и спокойно. Палуба мелко дрожала, плиты подымали пену вдоль бортов, мелкая водяная пыль светилась радугой на скупом проглянувшем солнце.

Вечером меня поразили огни деревень: сюда не доходила война. Смех, возбуждение людей, сумевших попасть на пароход, постепенно сменились озабоченностью. Кто-то слышал радио в каюте и вышел сказать, что на Украине появились новые названия: Балаклея, Купянск, Лозовая... Я знал, что это означает: немцы рвались южнее Воронежа. Сообщения о наших атаках в Крыму прекратились, и это тоже не сулило ничего хорошего.

Пошел мелкий злой дождик. Волгу затянуло туманом. Я спустился в трюм, где было темно, душно и пахло потом и разогретым металлом. Сон был тяжелым.

Я проснулся перед рассветом. Дождь лил не переставая. На палубе было пустынно и мокро. «Ах боже мой!» — выдохнул кто-то рядом со мной. Мужчина, которого я не заметил, стоял возле двери, нахохлившийся, седой, густобровый. Вода струилась по его лицу, но он не вытирал ее. «Ах боже мой!..» — еще раз сказал он и ушел в каюту.

Как странно бывает! Он ничего не сказал определенного, но волнение охватило меня.

В Куйбышеве никто меня не встретил, как было условлено. С трудом и не сразу нашел я академию. В закрытом окне проходной увидел высокую тулью фуражки с черным околышком и перетянутую ремнем с портупеей новенькую гимнастерку. Строгий чистенький курсант внимательно проверил мои документы и впустил меня во двор, загороженный высоким забором. Я попал на выбитый ногами плац, пересек его и вошел в казарму, заблудился в длинных пустынных коридорах и наконец доложил дежурному по академии о цели приезда. Меня провели в канцелярию и дали адрес Николая Николаевича.

Я застал его за чтением Тацита в старой, уютной квартире, с лепными потолками, камином и мраморными бюстами каких-то римлян с высокими лбами. Он был в белой рубашке, в подтяжках и галифе с лампасами.

Николай Николаевич близоруко щурился и улыбался, поблескивая золотым зубом. Он был рад мне. Мы неловко хозяйничали.

Лена работала в госпитале, была на дежурстве.

Разогрев вчерашние щи, а потом запив их чаем с вареньем, перешли к делу.

Я честно выложил все, что имел сказать: хочу на фронт, кем угодно. Николай Николаевич не спорил. Я изложил свой план: прохожу комиссию, сдаю экзамены (они мне зачтутся и после войны) и за это время, в течение двух недель, хожу на концерты симфонического оркестра. Потом я подаю рапорт об отчислении на фронт. «Что ж, такие случаи были», — флегматично заметил Николай Николаевич.

Хорошо мне было со стариком! Никаких сложностей. И понимал он как-то все с полуслова. Он не говорил мне о патриотизме, но и не говорил о том, о чем обычно говорят в таких случаях: что надо служить Ро-

дине там, где ты принесешь больше пользы, и тому подобное, чтобы утаить главное — там, мол, тебя пуля достанет, а тут ты останешься жить. Я столько слышал таких разговоров!

Но все получилось не так, как мы планировали. В тот же день на медосмотре меня после рентгена попросту выставили за дверь. Обе верхушки легких были поражены. И тут я вдруг, как это уже случалось со мной, страшно испугался, что смогу заразить Николая Николаевича или Лену. (Хорошо, что я сам вымыл посуду!) Я взял справку об отчислении из академии, а точнее, о том, что меня не приняли по состоянию здоровья, и, не заходя на квартиру, где меня наверняка уже ждала Лена, пошел в военкомат.

Так я Лену и не увидел. Я попрощался с ними в письме.

Мне не хочется подробно вспоминать все, что было потом. А было всякое.

Уйдя в тот день из академии, я попросился на квартиру к одной старушке, с которой случайно разговорился на «толкучке», шумном базаре, где в те годы менялось все на все. Я сменял на хлеб и шоколадный лом свою запасную рубашу, а теплый свитер пошел старушке за проживание в течение недели.

С рынка мы ехали долгим трамваем. Домишко ее стоял в тихом переулке. В темной комнатке пахло уксусом. В углу стоял топчанчик, который тут же сломался подо мной. И старушка, поохав, принесла из своей комнатенки пачку книг в твердых переплетах. Это был словарь издания Брокгауза и Ефрона. На словаре топчан держался хорошо.

Старушка — я звал ее тетя Варвара — целыми днями шныряла по всем местам, где что-то «отоваривали» или меняли. Меня удивляла ее активность. Временами казалось, она просто убивала время, создавала иллюзию деятельности на пустом месте, так как меняла она, как говорится, шило на мыло, а тратила массу времени и энергии, весьма дефицитной в ее преклонном возрасте.

Неделя эта прошла в чтении. В комнатухе, куда я получил доступ после двухдневной проверки на «честность», была масса книг, неизвестно кому ранее принадлежавших. Я читал и днем и ночью, благо ночи стояли

лунные и можно было видеть буквы, примостившись у окошка. Керосин мы сэкономили.

Днем я ездил в военкомат на медкомиссии, в райком комсомола, где наконец был записан в добровольческую бригаду.

Вечером обычно я проникал на концерты.

Однажды на концерте Якова Флиера я увидел Лену. Она сидела в партере, и я с галерки хорошо видел ее полупрофиль, так как место у нее было на самом краю полукружием расположенного ряда. На ней было черное платье, очень скромное. Лицо бледное. Руки крепко сжимали поручни кресла. Рядом сидел какой-то чернявый курсант-медик. Он все пытался положить свою руку на Ленину, но она снимала локоть и нервно поводила плечом. Они совсем не разговаривали. Я ушел до перерыва, хотя во втором отделении Флиер должен был играть Шопена.

Я шел пешком довольно долго. Ночь была темная. Дома стояли настороженно, казались живыми. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким. Разбредила меня и музыка, конечно. У меня было такое чувство, как будто в мире не осталось ни одного живого человека, как будто все вымерли и остались только Лена и этот чернявенький курсант... Сейчас я пишу, и мне смешно. Уже тогда я знал, что никакого чувства к Лене нет. Но, может быть, человеческая душа так устроена — обидно за себя, за то, что ты одинок, и кто-то же должен быть ответствен за наше одиночество?

Если бы был Борис! Он один понимал меня. Понимал, ничего не говоря, только улыбаясь. Он вовремя начинал дурачиться, вовремя потому, что в самых откровенных местах мы оба одновременно чувствовали, что нельзя перейти какую-то грань. Я до сих пор считаю, что дружба — это вовсе не абсолютная откровенность, которая выгребает до дна остатки наших тайн. Я содрогаюсь при мысли, что Борис мог бы нашептывать мне, например, о своих чувствах к девчонкам. Есть вещи, которые мы понимаем без слов. Говорят, у девчонок это все иначе. Наверное, не у всех. Ту же Лену не могу представить выворачивающейся наизнанку перед какой-нибудь подругой или этим чернявым... Дался он мне, однако! Теперь я буду думать о Борисе. Он воюет там, ничего не подозревая...

Если бы войны не было, все могло сложиться иначе. Но к чему гадать? Когда играешь в шахматы, можно каждый ход проверить на доске вперед и назад. В жизни так не бывает. Да и просто никому не нужно это занятие.

Я жил один не потому, что Лена не дождалась меня с фронта. Просто была война. И я что-то потерял: доверие, что ли. Нет, не то. Я стал разборчивым, говорят мне. Смешно! Во мне что-то изменилось. Я стал думать о человеке, который навсегда свяжет свою судьбу со мной, как о невольной жертве войны. А это мешало мне оставаться самим собой. Всегда легкомысленный, теперь я стал таким казаться, а не быть.

Вообще чем больше я читал Сашины записи, тем более приходил к убеждению, что мы как бы постепенно менялись с ним местами. Понимаете, его серьезность и требовательность к жизни были качествами натуры, мои такие же качества — следствием возраста. Я стал старше его потому, что он навсегда остался девятнадцатилетним...

И странная мысль одолевает меня: я все больше становлюсь «Сашей». А он, живи он, становился бы мною? Наверное, нет. Процессы необратимы. Наверное, один раньше, другой позже, но все стремятся к одному, все реки текут в море...

Я снова всмотрелся в буквы дневника, в слова — резкие, твердые буквы с наклоном, бегущие по целине листа, в свою последнюю атаку...

Пока человек живет ясной и безоблачной жизнью, он способен отзываться только на то в мире, что само ясно и безоблачно.

Страшное, непонятное и жестокое может на миг придавить душу, ввергнуть в тоскливое состояние духа; но тучка соскользнет с солнца, и все вокруг снова сияет и радуется жизни, а тень от тучи убегает все дальше.

Да, видимо, люди и не могли бы жить, если бы все, что уходит, оставалось при них.

Но опыт не проходит даром. И что-то все равно остается в нас — и от безоблачной ясности и готовности к идеализму, и от горечи измен и утрат...

У меня всегда была избирательная память: все, что угнетало меня, забывалось быстрее и почти без усилий с моей стороны. Наверное, у меня была более здоровая или, вернее, более устойчивая психика. До сих пор, перенеся много горя, я помню все смешное, забавное, хорошее, как будто это было вчера; все же грязное, жестокое, подлое я вспоминаю только тогда, когда мне о нем напоминают.

После похорон одного школьного товарища я инстинктивно искал уединения. Я убежал тогда на берег моря, где никого не было, и плавал, нырял, смотрел открытыми глазами на подводный мир, колышущиеся водоросли, мерцание плавников маленьких милых рыбешек, и все во мне бесшумно смеялось, не умолкая. Я дрожал от нетерпения жить, радоваться, я был как одержимый, иногда сам пугаясь этой противоестественной радости сразу же после смерти другого живого, более того — близкого мне существа. Конечно, я очень стыдился себя, такого. Но мне много сил потребовалось в ближайшие дни, чтобы не выдать себя, особенно перед Сашей. Только недавно, прочитав о Моцарте, который после похорон любимой жены хохотал так, что его сочли сумасшедшим, я подумал, что в этих крайностях реакций на потрясение, по-видимому, сказываются не столько моральные качества личности, сколько нервно-психологические, защитные средства организма.

А может быть, физиология служит всего лишь прикрытием эгоизма? Ведь это факт, что нравственные муки, которые знал Саша и которые проходили легко для меня, когда они сменялись физическими, доставляли мне куда более сильные ощущения страха перед ними, чем это было с Сашей, который стоически переносил любую боль, страх смерти, не говоря уже о голоде, холоде и прочих тяготах быта.

...Я говорю, что остается опыт. И не только остается — он лепит нас, делает иными, чем мы были.

Опять же сворачиваю на книги наших учителей — великих писателей. Читал Шекспира, 137-й сонет. Удивился сходству героя с Дон-Кихотом:

«Как сердцу моему проезжий двор  
Казаться мог усадьбою счастливой?»

Вспомнил, как смеялись мы все, когда один наш товарищ, армянин, ответил на вопрос о разнице между Дон-Кихотом и Гамлетом: «Дон-Кихот сначала все де-

лает, потом думает, Гамлет — все думает, думает, ничего не делает...»

Как часто сравнивали и сопоставляли эти два гениальных образа. Например, наш Тургенев. Он тоже рассуждал о действии и мысли, хотел соединить аналитический скепсис и волю к действию, поступку.

А в сонете Шекспира есть общее и Сервантесу, и мыслям датского принца: любовь, которая всегда готова возвысить и очистить мир! Становясь старше, мы не просто меняем кожу, не переходим от Дон-Кихота к Гамлету, не меняем горячую веру на скепсис, поступки на раздумья,— нет, мы только трезвее видим жизнь, освобождаемся от пустых иллюзий, учимся различать «проезжий двор» и «усадьбу счастливую», но не прекращаем искать эту «усадьбу», стремиться к ней!

Эта мысль заставила меня усмехнуться. В юности кажется, что все, что случается с людьми, только к лучшему. Приобретается, но не теряется. И приобретается лишь ценное. А усталость? А тщетность усилий найти эту «усадьбу», которую нельзя же искать бесконечно?

Дальше шла совсем короткая запись:

А все же интересно понять: почему с годами не расширяется мир нашей мечты, а, наоборот, сужается, становится реальнее, трезвее, практичнее?

Я задумался. А ведь верное наблюдение! Достаточно рассказать вам одну забавную историю из нашего детства, чтобы понять, насколько прав был Саша.

Самая романтическая мечта нашего детства! О, это была величайшая тайна! На протяжении многих лет, видоизменяясь, она жила подспудно и упорно, и, откладывая ее, мы еще больше разжигали себя надеждой на ее осуществление в следующем году.

Это была мечта о... кругосветном путешествии.

Началась она рано, кажется, в третьем классе. Начитавшись Майн Рида и Жюль Верна, мы с Сашей решили удрать из дома и, только обогнув земной шар по экватору, вернуться домой.

Однажды на рыбной ловле в Кизилташском лимане, ку-

да нас взял с собой Костя-грек, мы обнаружили старую лодку, полузатопленную, с пробитым днищем. Она лежала в камышах, давно засосанная илом. Мы уговорили Костю помочь нам вытащить ее и на попутном грузовике привезти в город. Полгода чинили, смолили ее, красили и перекрашивали. Помогали нам дедушка, Костя, Гриша. Назвали мы ее «Альбатрос». Сколько дней и вечеров провели мы за черчением карт, чтением навигационных книг, поисками подзорной трубы, компаса, брезента, запасного паруса!

Первая попытка бегства состоялась при полном штиле 13 июня 1935 года. Мачта наклонилась под боковым ветром, парус надулся, и, прежде чем мы успели что-нибудь предпринять, лодка опрокинулась. На дно пошел ящик с приборами, тщательно разграфленным бортовым журналом, запасом пресной воды на трое суток, удочками, прекрасными финками для борьбы с акулами и провиантом, состоящим из сухарей, сахара и вяленой рыбы.

Корабль с гордым именем «Альбатрос» потерпел аварию недалеко от берега, милях в двух. Правда, спасение подоспело по всем правилам морских кораблекрушений. Пыхтя бензиновой гарью, подошел рыбацкий катер, и знакомый нам Попандопуло, толстый грек с хитрым глазом и черной повязкой на другом, пробуксировал нас до берега, перерубив мачту и оборвав остатки паруса.

Он потребовал контрибуции, и мы, боясь излишней гласности, согласились на его условия: четыре субботы и воскресенье резать шашат для поплавок его волокуши. Работа не ахти какая трудная, но обидно было с утра до вечера строгать пробковое дерево чужими ножами, вспоминая свои новенькие финки с инициалами, выжженными лупой на ручках: «Б» и «А».

Второй выход в море готовили более тщательно: полгода. Помешала болезнь Саши — он заболел скарлатиной. Выйти в Средиземное море мы должны были в июле, не позже. Было рассчитано все, вплоть до пассатов и муссонов, которые должны были встретить нас в Атлантике. Правда, теперь речь шла уже не о кругосветке, а о том, чтобы достичь Азорских островов. Почему мы выбрали Азорские — боюсь сказать, чтоб не соврать, — не помню. Может быть, из-за Маяковского:

Я родился,  
рос,  
кормили соскою,—



жил,  
работал,  
стал староват...  
Вот и жизнь пройдет,  
как прошли Азорские  
острова.

А только чем больше мы выросли, тем короче становился наш маршрут. Весной 1936 года мы планировали уже дойти до Батума, так как нам объяснил Костя, что для выхода в Дарданеллы уже нужна какая-то виза. А кто нам даст визу? Так мы сократили рейс «Альбатроса» до Анапа — Мысхако (около Новороссийска)...

Пусть не удалось нам выйти в океан нашей детской мечты — не пристали мы к пустынному берегу, поросшему пальмами, не охотились на акул, не слышали рыка львов, не делили последнего сухаря, размоченного в дождевой воде, пахнувшей ржавой банкой... Зато мы столько прочитали, столько видели во сне, столько пережили, копя сухари и ожидая вот-вот готовую наступить разлуку с близкими, что нам на всю жизнь должно хватить волнения и романтики!

И может быть, именно потому, что детство наше не было бескрылым и куцым в недоверчивости ко всему, до чего дальше, чем до магазина и танцплощадки, мы на всю жизнь сохранили чувство розового горизонта, какой открылся нам на рассвете 13 июня 1935 года, когда, стесняясь смотреть друг другу в глаза — так выдавала наше волнение бледность, — мы выходили в открытое море...

### «ЛЕКОК-ЛЕПУПЬЕ...»

*Июнь, 1942*

Война в разгаре. Мы в степи. Отступаем. Потерял вещмешок — ноты, рукописи, ложку. Тетину ложку. Дневник был в противогазной сумке. Тетя Лиза просила вернуть ложку... Талисман? Смешно. И в приметы я давно не верю. Мы отступаем, а я, наоборот, все больше верю в победу. Это у нас временные трудности. Мы сокращаем линию фронта, а потом ударим по ним. Проклятое солнце в зените. Скоро пойдем дальше. Привал. Хочется пить. Я уже хорошо научился переносить трудности. И стал суровее. Рад, что от моей мягкотелости

ничего не осталось. Вчера расстреляли злого паникера. Когда-то я бы умер от страха. А теперь видел это и знаю, что так надо. Война. Тут свои законы. Сейчас одно в сердце у всех — остановиться, остановиться надо. И если кто-то мешает из своих... Боже мой... Что я пишу?

Это записано карандашом. Почерк нервный, почти не Сашин. Даже почерк изменился. А я почему-то вспомнил его совсем мальчиком: как мы познакомились...

Улица со странным названием — Серебряная. Тихий зеленый дворик. Звенит жара. А из раскрытой двери, из-за чуть шевелящейся марлевой занавески до полу, доносится французская речь. Медленно, часто повторяя сказанное, растолковывающе: «Съэт-юн пуль мезанфан э са съэ ле кок...»

Мама говорит: «Ну, ну, ослик... Что же ты?» Я упираюсь ногами в калитку и не хочу идти, губы мои дрожат. «Фу, как не стыдно! Такой большой мальчик!» Расчет верный. Я перестаю упираться и покорно бреду к черной от горя занавеске. Она белая, эта марля. Но за ней мне чудится ночь. Входим. Так и есть: окна занавешены от мух. Свет падает только с улицы сквозь марлевую занавеску. Пока мама о чем-то говорит с тетенькой в очках, обмахивающейся раскрытым японским веером, я с открытым ртом рассматриваю веер — такое чудо я вижу впервые. Я еще очень мал, и мне простительна непринципиальность: я уже забыл, что не хотел входить в этот дом. Мне нравится веер, мне нравятся картинки, разложенные на столе.

За столом сидят несколько головок с большими глазами. Одна девочка. У нее громадный бант и веснушки, которые светятся даже в полутьме.

Меня гладят по голове. Я острижен коротко, волосы жесткие. Потому я терпеть не могу этих телячьих нежностей. Тем более, маленькое сердце мое чувствует некое лицемерие в этом жесте. Почему — не могу сказать, но лицемерие. Я стараюсь увернуться, но мама строго сдвигает брови, и я подчиняюсь. Тетенька машинально продолжает гладить мою голову, обещает маме, что я буду молодцом. Невиданная наглость! Я сам знаю, быть ли мне молодцом или нет. Но я терплю. Раз надо — надо.

Мама уходит, меня подсаживают на стул. Он высокий. Я болтаю ногами и нечаянно задеваю по коленке ногу соседа. Он худенький, красивый и бледный. Он морщится, но,

видя мою растерянность, улыбается: мол, ничего, брат, и со мной так бывает. И он сразу мне нравится, этот мальчик. Только у него зачем-то бант на рубашке. В такую жару, да и потом мальчик все же! Но я готов ему простить даже бант. Я подмигиваю ему, но тетенька бесцеремонно поворачивает мою голову от соседа и говорит над самым ухом: «Съэт-юн тасс, съэт-юн тасс... Это чашка... Боречка, где у тебя чашка?» Голос у нее противно-сладкий. «У меня дома чашка», — отвечаю я, хотя я не такой уж дурак и знаю, что она имеет в виду. «Ха-ха-ха! — смеется тетенька и трясет своим толстым телом вверху живота. — Вот твоя чашка, Боречка. — Жирный палец с перстнем тычется в карточку, лежащую передо мной: — Съэт-юн тасс...» Губы у нее извиваются, как червяки, они накрашены, и я некоторое время смотрю на них не моргая. Тетенька расценивает это как признак особого внимания и снова гладит меня по голове. С каким удовольствием я укусил бы ее! Но она отплывает к девочке и поет уже над ее головой. Легкий бант колыхается от дыхания тетеньки, и я смеюсь. Мой сосед смотрит на меня с восторгом. Это придает мне смелости: я смеюсь погромче и подмигиваю соседу. «Саша, не смотри на Борю. Смотри на меня, — шипит тетенька. — Э са съэт-юн балль... Это мячик». И она высоко поднимает картинку, где нарисован мячик. Он сине-красный, как у меня дома, и я вздыхаю.

У меня уже ноет шея. Сейчас я бы гонял свой настоящий, не нарисованный мячик, рубашка не стесняла бы моих движений. Я наклоняюсь к соседу и шепчу ему в ухо: «Саша, пошли играть». Он испуганно-восторженно смотрит на меня. Он не может переварить сразу такого количества смелости.

«Боречка, если ты хочешь пи-пи, скоро перерыв, детка...» Я не верю своим ушам. Я смотрю на девочку с бантом... Так унижить! Так растоптать мое мужское достоинство! Туман застилает мне глаза. Я должен отомстить этой ведьме, чего бы мне ни стоило. Подожди...

Но ждать не приходится: раздается колокольчик, тетенька говорит, что мы можем поиграть в садике. Я иду как слепой. Саша взял меня за руку и ведет в сад. Дети уже здесь и отнимают друг у друга песочницу. Девочка сидит на корточках и катает машину взад-вперед.

Я выдергиваю руку и иду в кусты. Исподлобья наблюдаю за детьми, они азартно что-то строят на песке, и это что-то рассыпается. Дети с завидной и непонятной мне ини-

циативой снова начинают строительство. Мне грустно и легко, как сказал бы Пушкин. Мне жаль себя. Настроение убито, ничто уже не радует меня.

Звонит проклятый звонок, дети бегут в комнату. Я выжидаю секунды три. «Боречка, мы начинаем!» — кричит ведьма. Я сажусь между лопухами и молчу.

Потом ложусь на живот и ползу в лопухи. Вслед мне несетя: «Ля пуль э птит, ле кок э пти...» А я уже вылез на улицу, подняв доску забора. Я отряхиваюсь, как щенок, и, скорчив рожу по направлению дома, говорю, кривляясь: «Лекок-лепупье...» И вздыхаю полной грудью — я на свободе!

Как быстро пролетели годы. И этот худенький, красивый и вежливый мальчик сейчас лежит в степи и огрызком карандаша пишет эти размашистые, нервные слова.

## О НЮРЕ, ПЯТИСТЕНКЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

*Ноябрь. 1942*

Бои день и ночь. Сталинград разрушен. Моя часть стоит южнее. Но зарево видно нам ночами. Небо днем закрывают самолеты немцев.

Подробно писать некогда, да и не могу. Ад описать нельзя. Данте сочинил ад, а мы живем в нем. Какое тут сравнение! У нас столько жертв, что люди меняются как на вокзале. Я жду пересадки на тот свет, как и другие. Но это я пишу так. Мы и не думаем о том свете. Мы воюем.

Два раза нас сбрасывали в Волгу, а мы снова здесь, на правом берегу. Кругом песок, как наш, черноморский, но мельче. Волга вся в столбах разрывов и водяных смерчей. Кажется, на каждый сантиметр падает огненная смерть. А мы живы.

Я оглох на одно ухо. Говорят, на днях нас отвезут на отдых на левый берег. Хочу поспать. Мы закопались в берег. Сегодня, вчера и позавчера, кажется, сколько себя помню, — атаки. Немцы выбили нас с кургана и поставили там минометы и легкие пушки. Мы ходили четырежды на них. В последний раз уже молча — сорвали голоса. У нас в батальоне человек тридцать. Ждем пополнения. Комбат ранен в обе руки. Я обязательно на-

пишу о нем, когда все это кончится. Удивительный человек. Умный, смелый, человечный. Его зовут Никоненко, Павел Трофимович. Он был архитектором до войны, в Киеве. Говорит, после войны много работы будет. И вся жизнь, говорит, будет совсем иная, из нее все плохое уйдет, как гной из раны. Построим новые города и будем жить тихо-тихо. Светом разговаривать и цветовыми сигналами. Эту азбуку, говорит, в школах преподавать будут. Накричались люди, наслышались грома.

Я когда-то думал, что музыка теперь будет только рваная, вся на синкопах и диссонансах. А недавно услышали по приемнику Чайковского, Шестую... Нет, дурак я был! Еще нежнее, гармоничнее и... проще будем писать музыку. Тут у нас один грузин есть, сержант, он так хорошо поет «Сулико». Мы все подпеваем. А недавно Гигла (так зовут его) напел «Ласточку». Это армянская песенка, слова какого-то классика. Чудо, не мелодия!

Ночью вдруг передышка настала. Ни одного налета. И артиллерия молчала. И я услышал мелодию «Ласточки». В таком ажурном, что ли, сопровождении, что слезы навернулись. Записывать не стал, но уже третий день нет-нет да и слышу продолжение. Даже под разрывами. Забуду, отвлекусь и снова поет, звенит, как ручеек, расширяет русло, перекликается. Слышу сразу в оркестре, словно инструментировал уже...

Убили Перова. Это был самый старый, если так можно сказать, друг здесь — почти две недели воевали рядом. Он лежал рядом со мной в окопе, попросил закурить, я протянул ему табак щепоткой, не глядя, так как немцы близко, и в один рывок могли бы достать, чувствую, не берет. «Держи», — говорю. Глянь, а он лицом в бруствер ткнулся, воротник шинели кульком стоит, и туда земля с песком сыплется... По этому и понял. Снайпер снял. А накануне он сказал: «Александр, я смерти не боюсь. Мне страшно, как жена без меня останется. Она у меня неприкосновенная». А я ему сказал, что это глупые разговоры, теперь все приспособленные. «Нет, — он говорит, — нет, моя Нюра никак без меня жить не сможет, я-то знаю...»

Перова убило, а письмо приходит. Я взял его у матроса, что нам еду привез с того берега, и долго с ним сидел, вертел в руках. Потом прочитал. Мать Перова писала, что Нюра ушла от них, продала хату-пятистенку,

вышла снова замуж — «при живом-то муже» — и чтоб он, Перов, ее любимый сын, не очень убивался: «Плохой она человек была...» Я ответил матери, что сын ее пал смертью храбрых, подумал, и Нюре этой то же самое написал.

Борис сказал как-то, что творчество — радость, что, когда пишешь, становится просто неинтересно, что кто-то сделал гадость, а кто-то хочет ее сделать. Ах, если бы так! Нет, Боря, наверное, радость эта неполная. Какая-то Нюра, пятистенка и судьба Сталинграда, Родины, может быть, Европы, — что общего? Какие соизмерения? Никаких, конечно. Так всегда было и всегда будет — нюры неприспособленные, сутяжничества вокруг пятистенок, и Священные Войны, решающие судьбы целых народов, Революций... Не видеть малое, пошлое, стыдное? Смотреть поверх пятистенок?

А может быть, видеть все, все, как есть?..

Снова вспомнил его маленьким. Мы уже ходили в школу. Школа далеко. Я захожу за Сашей, и мы идем вдоль его улицы к морю — школа Первая Образцовая им. Пушкина в самом «Курзале», только отгорожена железными прутьями и фигурной решеткой по ним.

Откуда такая роскошь, никто не знает: на решетке гербы, короны, львы, птицы с двумя головами из одной шеи. Здание маленькое, есть даже проходные комнаты-классы. Зато окна громадные и все выходят на широкую террасу, выложенную цветной каменной плиткой — мозаикой.

Маленький двор и огромный парк. На уроке можно видеть море, правда, самую кромку, — у горизонта. По ней в два часа дня и без четверти пять незаметно появляется пароход с как бы приклеенным дымком и долго передвигается справа налево. Это рейсы «Грузии» и «Чичерина» Одесса — Батум. В три десять — во время перемены — в обратном направлении так же невесомо проплывает и гудит «Украина». Она словно приветствует нас, и мы дружно кричим, и прыгаем, и бросаем тюбетейки и панамки в воздух.

Так мы и познакомились с Сашей вторично. Прозвенел старый желтый звонок в руках сторожихи тети Зины (жены Кости Челикиди), а мальчик с бантом на заплатанной рубашке все продолжал подпрыгивать, пытаясь достать с ветки акации свою панамку. Я узнал его: «Француз!» Вмиг был я

на дереве, сбросил ему панамку и лихо спрыгнул вниз... но попал в руки директора. Он был высокий, очень сутулый, с висячими усами и седым «бобриком». Ходил Эрнест Кириллович в просторной блузе из полотна, в каких рисуют художников, носил пенсне на шнурочке и панаму. Эрнест Кириллович поймал меня в воздухе и осторожно поставил на землю.

— Как твоя фамилия?— строго спросил он, сдвинув свои кустистые седые брови.

Я ответил.

— В каком классе?

— У Евдокии Ивановны,— ответил я, хотя полагалось, видимо, сказать: «В первом «А».

— Иди на урок, а после урока зайди ко мне. Ты знаешь, кто я?

— Еще бы,— ответил я рассудительно.

Мне показалось, что директор усмехнулся.

Саша все время стоял в сторонке, не шел на урок.

— Хочешь, мы вместе пойдем к нему?— спросил он шепотом, когда мы пошли к двери класса.

— Еще чего,— ответил я, хотя на душе у меня было паршиво. Это был первый день, 1 сентября 1930 года.

— Ну, я пошел,— сказал Саша, продолжая переминыться.— Я тебя сразу узнал.

— Я тоже,— просто сказал я, сам себе удивляясь, что не «держу форс», то есть не прикидываюсь равнодушным и развязным.

— Я в «бешке»,— словно извиняясь, сказал Саша, кивнув на дверь своего класса.

— Ничего.— Я был щедр сегодня.

С тех пор мы ходили вместе, а потом и перевели к нам Сашу. Хлопотал я. С тех пор все у нас было на двоих и поровну. Вместе строили мы планы и на будущее...

Но оно само распорядилось нами, как ему было угодно.

## **«...В ЗЕЛЕННЫХ ПЛАКАЛИ И ПЕЛИ»**

Справедливость жила в Саше сама по себе, не советуясь с ним. Я знал, что, если он в чем-то уверен, его никакая сила не может переубедить.

Помню, как-то раз я рассказал ему о своей поездке на

теплоходе в Севастополь. Отец взял нас с мамой в командировку во время каникул. Собрались мы быстро и второпях, и вот оказалось, что билеты достались нам плохие, палубные. Было поздно раздумывать, отец, как всегда, широко махнул рукой: «Что-нибудь придумаем: к капитану пойду».

Надо сказать, я верил в безграничные возможности моего отца. Жили мы по тем временам неплохо, а о разных там комплексах и говорить нечего; рос я веселым, уверенным в том, что все люди равны, все братья, все довольны жизнью, как я сам ею доволен.

И вот случилось так, что на пароходе отец ничего не добился, и мы мерзли на палубе среди таких же палубников, как мы, весь день и всю ночь. Ночью отец провел нас за каким-то матросом на верхнюю палубу, где шло тепло из решетки машинного отделения. Но ветер здесь был еще свирепее. Вскоре нас прогнали, причем довольно грубо и бесцеремонно.

На следующее утро я видел, как из каюты первого класса вышел толстый мальчик в матроске и белых носочках. Он что-то нудел матери, а та сидела в шезлонге и ела шоколадные конфеты, блаженно улыбаясь солнечным лучам. Потом я видел, как, отделенные от нас белой проволочной сеткой, прогуливались хорошо одетые и веселые люди. Один так даже с собакой на поводке. И все они выпались и не зевали, как мы.

Когда я учился в первом классе, я видел на улице умирающего человека, мимо которого все проходили словно виноватые. Он лежал с котомкой, подняв рыжеватую бороденку к синему небу, и дрожал, хотя было тепло.

Человек, умерший от голода? Я долго не мог поверить, что люди могут умереть от голода! И если не было у него еды, почему он не купил ее в магазине? Не было в магазине? Ну, просто попросил бы, как я прошу у мамы, когда проголодаюсь!

А однажды отец, пойдя в сарай за огурцами, поймал там «воришку». Он вел его в дом, а тот кричал хриплым голосом, что он «не вор, а совсем лунатик». Это был страшно худой грек лет девяти, с плутоватыми, кофейного цвета глазами. Звали его Гераклом. Мама, всплакнув, накормила его, а он показывал потом фокусы, смешил всех умением сдвигать глаза к переносице, шевелил ушами и врал, как Мюнхаузен. Он стал моим приятелем, участвовал во многих затеях, но



я на всю жизнь запомнил его первое появление у нас, связанное с попыткой кражи не то огурцов, не то арбуза...

Жизнь редко показывала мне свои несладкие стороны. Саша с детства знал то, что проходило мимо меня как бы по касательной.

Рассказ о пароходе очень взволновал его. Неужели ты не понимаешь, говорил он мне, что это был не пароход, а мир? Он все еще несовершенен, и то, что ты почувствовал тогда, это твое рождение как гражданина. Ты, продолжал Саша, носил галстук, потом прикрепил комсомольский значок, ты честен и добр, готов всем поделиться с другими, но ты совсем не знаешь жизни, хотя бы того, что не все желают делиться тем, что у них есть и чего нет у тебя. Мы, а не дядя, не кто-нибудь из нас, должны—всю жизнь, до последнего дня! — бороться за настоящее равенство, против корыстных чувств, против лжи. Ты меряешь землю куцыми мерками! Мы — только начало мира. Не в нас с тобой суть! Мы можем пожить и неуютно, пусть только мы увидим сдвиг, что то, что казалось вечным — корысть, обман, неумение жертвовать собой,— что все это было временными истинами, годными лишь для рабов! А человек ведь не раб! Раба и революция не исправит!

Вот тут-то я его и брал в клещи:

— Так, так, а кто же, по-твоему, делал революцию? Одни Робеспьеры? Рабы превращаются в людей в процессе борьбы...

Саша зажимал уши и морщился:

— Борис! Это же слова, слова... Справедливое общество не решает всех задач. Страсти, пережитки, неточный расчет в практике строительства — да сколько лазеек для искажения идеала! В каждом, в каждом из нас — спасение. В каждом, в каждом из нас — гибель.

— Самоулучшаться зовешь?! — горячился я.

— Верить в то, что от нас тоже что-то зависит,— сказал Саша.—В людях идеи, а не наоборот. Все от людей зависит.

— Можно сделать такие ручные, такие удобные идеи,— сказал я иронически,— что они не будут отличаться от выгоды.

— Не надо упрощать,— терпеливо объяснил Саша,— речь идет о вполне понятных и бесспорных духовных ценностях, таких, как свобода, равенство, достоинство каждого. Вот тебя задело не то, что ты не в первом классе ехал, а то, что вообще классы есть, и даже не сам этот факт, а то,

что классы что-то меняют в людях, их самочувствии, самоутверждении на земле, где, казалось бы, все договорились делать общее дело и для всех же в равной степени. Разве не так?

И Саша задумался. А потом неясная улыбка тронула его губы, и он стал тихо читать:

Под насыпью, во рву несокошенном,  
Лежит и смотрит, как живая,  
В цветном платке, на косы брошенном,  
Красивая и молодая.

Он помолчал немного, как будто прислушался. И потом, обращаясь ко мне, со значением продолжал:

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели;  
Молчали желтые и синие;  
В зеленых плакали и пели.

И улыбнувшись своей грустной, виноватой улыбкой, повторил:

В зеленых плакали... и пели...

Ты думаешь, это игра в краски? Нет, брат, зеленые вагоны были специально для бедных, а желтые и синие — спальные, для тех, кто побогаче... Но ты не задумывался, почему молчат желтые и синие? Нет? А жаль...

— А почему?

— А потому, что там уже не было жизни — Блок так понимал. Жизнь была в зеленых, пусть там и плакали, но и пели! Жизнь знает и горе и радость. А молчание — на кладбище.

— Это ты прочитал?

— Я так понимаю Блока. Разве это не так?

— Но, прости, ты понимаешь этак, я — иначе. А реальное содержание? Разве в стихах нет реального содержания?

— И ты, и я, еще кто-то — мы все его и должны понять вместе.

— Ну, послушай. Про эти вагоны — что там зеленые были для бедных, а желтые и синие означали классы, наверное, первый, второй, скажем так, этого я не знал... Но не в том дело. Это поэзии не касается. Но вот то, что «молчали желтые и синие», а «плакали и пели» те, другие, — вот это-то

разве означает, что Блок, кроме сочувствия бедным, выразил здесь и мысль о том, что богатым ничего уже не оставалось в жизни, что они, как бы сказать... обречены, что ли? Ты утверждаешь категорически — да, означает. Но я вправе усомниться. Я лично понимаю так: там, где много народу, там всегда шумно. Кто-то выпил и бушует, кто-то обнаружил, что корзину украли... Бедность ведь! И вот уже голосит баба... Никто не привык к галантности, к разговорам шепотом, когда рядом человек спит — народ простой и ведет себя непринужденно, непосредственно. Вот и вся недолга! А там, в спальных вагонах, чопорная обстановка. Говорят ровным голосом — как же их услышишь с перрона! Я понимаю, грубовато все у меня получается, так сказать, обидно для поэзии, особенно блоковской, такое жизненное истолкование всего. Да что поделать, жизнь — штука простая, грубая...

— У тебя все? — нетерпеливо спросил Саша. Он все норовил вступить в полемику, но я жестами останавливал его. — Если все, послушай теперь меня. Во-первых, насчет объяснения моего о том, кто в каких вагонах ездил. Для поэзии, ты считаешь, сие значения не имеет, как ты изволил выразиться, «это поэзии не касается...» Как же так — не касается? Касается самым непосредственным образом! Это, если хочешь, главный фокус этого стихотворения. Отсюда и все. И это тоже:

Не подходите к ней с вопросами,  
Вам все равно, а ей—довольно:  
Любовью, грязью иль колесами  
Она раздавлена — все больно.

Вся Россия была разделена отчетливо на эти цвета! И, в конечном счете, это нарушало гармонию, о которой мечтал поэт! И хотя трагедия пустой мечты — «так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая» — может быть, и шире, крупнее трагедии девушки с маленькой станции, но и рядом с девицей в цветном платке стоял «жандарм»... Маленькая деталь, незаметная:

Вставали сонные за стеклами  
И обводили ровным взглядом  
Платформу, сад с кустами блеклыми,  
Ее, жандарма с нею рядом...

Жандарм — намек, почти символ. Но и точная жизненная деталь: на какой станции, на какой платформе не стоит

блюстителю порядка! И вот именно потому, что тут торчит этот блюститель, и противоестественно это самоубийство — этот «непорядок» в мироустройстве! Я говорю путано? Ты прости... Я хочу главное сказать. Жандармы, желтые эти и зеленые вагоны,— это жизненное, точное, но и не только точное — поэтически тонкое, тонкое, понимаешь! И то, что ты говорил—кто-то пьян, кто-то дебоширит там, в зеленых, кто-то что-то украл... и нет заботы о тишине, или непринужденность простого человека, привыкшего спать в гаме, лишь бы не текло над головой... Все это верно, и так бывает в жизни. Но если в первом случае я говорил о нераздельности жизненного и поэтического, о том, что из жизненного и растет поэзия, то тут, в твоём примере, я вижу совсем другое: ты говоришь не о стихах Блока, а о том, почему могут молчать желтые вагоны и почему могут шуметь зеленые. А это, прости, к делу не относится. К Блоку не относится. Стихи отвечают на свой вопрос. У Блока ясно: из большого позорного разлада в мире, из этой разноцветности, что ли, подчеркнутой молчанием и криками, как лишним проявлением контраста, вырастает и эта частная трагедия, которая, несмотря на то, что частная, как цветная капелька росы утром на травинке, отражает солнце. Если бы Блок прямо связал, как это у нас на каждом шагу пишут поэты, что вот проклятая царская Россия губила девушек тем, что они прозябали в поисках легких дорожных знакомств...

— Ну, это ты уже карикатуришь... — рассмеялся я.

Но Саша не дал мне продолжать. Он был серьезен:

— Прости, я не кончил. Сила великого поэта в том, что он чувствует глубокую связь между явлениями, а не трехкопеечные истины, которые сегодня похожи на правду, завтра повторяются на веру, а послезавтра уже лгут. Сила Блока — а Блок истинно великий русский поэт! — в том, что он протянул ниточку чувства от зеленых вагонов, где «плакали и пели», к девушке, у которой тоже в душе не молчало, а плакало и пело навстречу поезду — движению — возможности счастья — переменам — навстречу этим нарастающим огням — «три ярких глаза набегающих»!.. Но как невозможно перейти из зеленых вагонов в синие или желтые, так невозможно оказалось счастье бедной девицы:

Лишь раз гусар, рукой небрежною  
Облокотясь на бархат алый,  
Скользнул по ней улыбкой нежною...  
Скользнул — и поезд вдаль умчалю...

— Кстати,— перебил я,— это все смахивает на жестокий романс. И «бархат алый», и гитарная интонация...

— Да, романс — жестокий, очень жестокий... Но в «алом» я вижу не символ прошлого, а кровь. Да, да, кровь, которая потом будет, в финале:

Любовью, грязью иль колесами  
Она раздавлена — все больно.

Насчет интонации ты, может, и прав. Я не думал об этом. Блок мог и нарочно — для характеристики героини, ее идеала. Но разве это главное? «Все больно...»! Кровь — везде кровь. Боль — всегда боль...

— Мы начали с права каждого на равенство, свободу, достоинство,— продолжал Саша, вновь разгораясь.— Пусть идеал для кого-то — и плюш, и гитара — смешон нам или жалок. Мы должны научить человека, привить ему вкус, и у него будет иной, более высокий и достойный идеал, не в этом же суть спора у нас,— дело в цели искусства, цели художника. Неравенство — противоестественно, унижение достоинства — противоестественно, несвобода, какого происхождения бы она ни была,— противоестественна! Вот — истина, вот — главное.

— А выход? — спросил я.

— Где выход? В поступке. Для девушки—это самоубийство. Для поэта — рассказ о нем. Для нас с тобой — понимание сути этого рассказа. Все это — цепь поступков, действий. Отсюда я имею право сделать свой вывод о том, что Блок намеренно, а не случайно (такого рода случайностей в искусстве не бывает!) погрузил в молчание вагоны—«желтые и синие». Россия поет, плачет, бросается под колеса. И другая Россия — тягостно молчит. Конечно же, это образ. И притом, какой силы! Старая Россия затаилась, испуганная нарастающим гулом будущей Революции... Конечно, из одного стихотворения нельзя сделать столько категорических выводов, и ты вправе последний мой вывод, наиболее общий, поставить под сомнение. Но теперь я говорю уже обо всей поэзии Блока накануне революции. А зная ее, почему же мы должны умышленно читать прошлые стихи как отдельные, изолированные друг от друга картинки? А? Ведь поэзия — единая развивающаяся песня, единая судьба! Судьба не одного поэта — России!

— Может, ты и прав. Но ты не ответил на конкретный

мой вопрос: в чем же реальное содержание стихотворения, если, как ты выразился, «мы все его и должны понять вместе»? Не означает ли это, что порознь никто не исчерпывает содержания?

— В известной мере, полностью исчерпать содержание стихотворения нельзя. Тогда оно перестало бы быть стихотворением, стало бы понятием. А понятие — удел точного знания. Но когда я говорил о том, что содержание мы раскрываем все вместе, я имел в виду только одно: что для каждого человека остается некий «остаток», что ли, что каждому впору взять от стихотворения то, что, быть может, доступно лишь ему, в то время как другая грань образа для другого человека окажется наиболее близкой. Это не значит, что только ее, эту грань, он и увидит в стихах — просто в ней для него окажется сокровенное, свое прочтение. Да мы с тобой только что подтвердили эту мысль. По-разному ли мы поняли стихи? Да нет, думаю, если разобраться, нет. Главное-то оба ухватили, разошлись в частностях. Но исчерпали содержание? Разумеется, нет! В нем много осталось такого, что доступно прояснению идеи, ведь произведение искусства целиком содержательно, а не по привеску вывода, в нем все нужно.

— Ты знаешь, — несколько неожиданно сказал я, — я вспомнил, читал где-то: в каждом из нас много настоящего и лишь одна капля будущего...

— Это — тот же Блок. В дневнике. Но к чему ты?

— Не знаю. Так. Нет, вероятно, потому, что вспомнил: Блок писал эти стихи в то время, как много читал, вернее, перечитывал Толстого, Чехова, прозу Пушкина. Он все время об этом вспоминает в 1909 и 1910 годах. И вот что я подумал: Блок здесь, в этом своем периоде, уже не только Блок. Он уже — традиция русской литературы, давняя традиция совестливости. Хотя и раньше... Я не хочу сказать, что это новое для него, нет, конечно. Но перелом где-то на грани первой революции, в 1905 году и дальше — все покатилося... Он потому, верно, и стал все это перечитывать методически. Того же Толстого. Но, прочитав снова, взволновавшись — ты помнишь, конечно, он так и пишет в дневнике, что взволновался и стал перебирать друзей, отказываться от некоторых, оставляя себе только глубоких, несуетных, — задумал начать новую жизнь без пустых желаний и мелочных страстей. Блок записывает в дневнике подробно и тщательно — может быть, впервые так развернуто — исто-

рию о том, как он встал в четыре утра, чтоб посмотреть комету Галлея (о ней все говорили, писали, ждали страшного), но вместо кометы увидел, как ворует его сено какой-то Егорка, ворует поспешно, пока барин спит; и дальше Блок пишет, что вороватый этот Егорка вьет гнездо для детей, а он, помещик русский, дворянин, держит таких, как Егорка, для того, чтобы они «строили» их «больную жизнь»... Я хорошо запомнил. Именно «больную» жизнь. Он там же добавляет, что у него нет детей. Меня эта деталь, помню, еще тогда поразила, пронзила, я бы сказал. Ведь это значило большее — нет будущего у «больной жизни» богатых. Ведь это не кокетство, а боль, стыд за всех, кто ведет такую «больную» жизнь! Все это я к тому же. Не спорю, как ты понимаешь, скорее подтверждаю тобой сказанное. Только одного не в силах понять: все художники, остро чувствуя несовершенство настоящего, рвутся в будущее, но вот наступает момент гармонии, хотя бы относительной, что тогда будет с искусством? Не изменится ли дилемма: «капля будущего» эта не растворится ли, не улетучится ли вовсе?

— Грустную ты нарисовал перспективу,— усмехнулся Саша.— Хорошее надо назвать хорошим, доброму надо радоваться, торжествуя. Но художник по природе своего дарования — разведчик будущего. Он непременно должен чувствовать его приближение, хотя бы как гул рельсов перед приближением состава. И как бы ни говорили вокруг: нам, мол, и без поезда неплохо,— **ничего** не изменится, поезд все равно придет, в этом суть! А лучше ли, хуже ли будет, когда поезд придет, не зависит ни от художника, ни от тех, кто не слышит этого гула рельсов и думает, что в его силах отменить поезд Будущего.

## ПРОСТО ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ...

(Без даты)

Никоненка увезли в госпиталь. Загноились раны. Сутки целые горел, бредил, звал какую-то Веру. Нас сменили. На переправе в сплошном дыму, под разрывами мин и снарядов, оглохшие и ослепшие, мы прошли до середины Волги.

Огонь спал. Мы пристали к песчаному большому острову. Долго выносили раненых, сгружали полуживых.

Транспорты пошли назад. Мы ждем парома на восточный берег.

Сижу на песке, желтом, мягком, и смотрю на Сталинград. Он черно-багровый, подрагивающий — гул ровный, тяжелый и непрекращающийся, сотрясает почву. Когда немного рассеивается дым над городом, видны разрывы, немецкие самолеты, заходящие на бомбометание. Даже странна их безнаказанность — кажется, туча комаров повисла над развалинами, над бушующим морем огня.

Время от времени доносятся глухие, но сильные залпы наших тяжелых батарей. Где они, я не знаю. Может быть, на восточном берегу?

Недалеко от меня в мокрых шинелях нахохлились мои товарищи — Волейко, Захаров, Максименко, Гигла... Гигла уже не поет — ранен в голову, бинты рыжие от крови, голову держит настороженно, чуть набок, говорит «больно нэстэрпи́мо», но не стонет.

У Волейко легкая контузия, как у меня. В атаке он отличился и сам не заметил: в немецких ходах сообщения, которые мы временно отбили на высотке, он, споткнувшись о провод связи, упал на фрица как раз в ту секунду, когда тот выдергивал чеку из гранаты рядом с нишей, где были боеприпасы. Еще полсекунды — мы все, и я в том числе, взлетели бы к богу. Граната разорвалась под немцем, а Волейко почему-то оказался наверху ниши, карабкался на бруствер, но, кроме мелких осколков в ноге, ягодице и контузии, все обошлось. Командир роты, который был почти рядом, тоже отделался легким ранением. Волейку все считают спасителем.

Захаров — краснодарец, с землистым лицом и отечными глазами, нам в отцы годится, ему лет тридцать пять. Лицо подергивается — у него тик. Захаров курит и улыбается: «Загадывал три раза и три раза оставался живой, — говорит он, хитро подмаргивая нам, — теперь уже в живых останусь. Меня ведь берут по специальности — слышал? Картограф я. Батальонный узнал: что ж ты, говорит, молчал? На таких запрос был». И Захаров смеется, обнажив желтые, прокуренные зубы.

Максименко — совсем мальчик из-под Херсона, родителей убили (в эвакуацию ехали с заводом), а его сделали сыном полка. Так и остался солдатом. Стаж у него большой. Воюет от Харькова. Был сперва в разведке.



Рассказывает: «Раз под проволоку лез, зацепился, а немец ракету повесил. Я лежу, похолодел, руки дрожат. Светло как днем. И слышу, два немца разговаривают за спиной, проходят, а я голову повернуть хочу — страшной всего, что в спину стрелять будут. Но голову поверну, шум будет, и так себе лежу, про себя их шаги считаю. Слышу, перестали говорить и остановились. Я голову втянул и жду. А сердце стучит так, что голова вроде подпрыгивает на рукаве. А они, сволочи, молчат. И ни звука. Как будто увидели меня и рассматривают, решают, что со мной делать. И тут мне закричать захотелось, чтоб скорей стреляли. Вспомнил мать, как она лежала на дороге, рядом с машиной, глаза открытые и нигде кровинки нет, как задумалась. А уже холодная. Как отца понесли, закрытого с головой, и посмотреть не дали, чтоб не испугался.

Тут ракета погасла и темно стало. Слышу, немцы разговаривают, а я немножко понимал по-ихнему. Один, значит, спрашивает: «А если в рукав покурим?» А другой отвечает: «А что, можно». Сидят они, гады, совсем рядом с моими ногами, и как не видят — понять не могу. Потом слышу тот, второй, говорит: «Надо повернуться, ветер оттуда». Ну, думаю, теперь — хана, они, оказывается, спиной ко мне сидели. А сейчас вот-вот ракета. Да и без нее увидят. Чиркнула зажигалка. «Вот черт», — ругнулся немец. «А где твоя?» — «Оставил, видно». — «У Вилли попросим». И слышу — шаги. Считаю: «Двадцать пять...» Подождал немного. Ушли! Отцепился я и полез дальше. Что надо сделал, как всегда, но когда к своим вернулся, снял шапку, а все смотрят на меня как остолбенелые. Командир разведки спрашивает: «Юрчик, а Юрчик, что с тобой было ночью?» — «А ничего. Порядок». — «Да ты в зеркало посмотри». Ищу я это зеркало, а где оно — не знаю. Я ведь еще не брился — ну, нашел, посмотрел: оно в блиндаже на стенке висело. А я седой совсем, белый. Попробовал голову рукой, не поверил, думал, сотрется. Не стирается, сволочь...»

Это Юра Максименко. По прозвищу «Белый». Я говорю: «Что ты больше всего в жизни любишь?» А он сморщил лоб и нос одновременно и думает. «Не знаю, — вздыхает, — не знаю, что в жизни есть».

А и правда, откуда ему знать, когда он жизни этой

не видел. Он только войну видел. В общем-то, конечно, очень, очень жить хочется... Ни для чего. Просто так.

Просто так! Нужно много выстрадать и передумать, чтобы прийти к такой ясности, такой простоте. Обычно думают, что сложность — удел зрелости, а молодость живет прямолинейно, одними порывами, и цель, мол, ясна, проста, все доступно, и потому юность дерзает, а не предается сомнениям. Может, оно и так, но не для всякой юности это подходит. Мы жили иначе, чем живут сегодня наши сверстники. Мы рано повзрослели, и у нас смутность желаний, туманный сон надежд, радость узнавания жизни — все, по сути дела, сложное и совсем не такое уж ясное, что свойственно любой юности, начинающейся естественно: все перегорело внутри, быстро, как горит валежник в ночном костре, когда короткая ночь сменяется розовато-синим пеплом рассвета.

Ясность и мудрость жизни, ее святая простота пришли к нам как откровение в восемнадцать—двадцать. Мы научились ценить время, вставать пораньше, чтобы успеть сделать свое дело, начатое вчера.

Мы разучились беззаботности, и нас всегда что-то зовет, требует, мы строимся на проверку внутри своей души, каждый день, а иногда и каждый час.

Мы начинаем с середины... Всегда с середины. Начала первой этой половины нет — она отрезана войной и к ней никогда не вернуться. Там — детство. Там — «а вот до войны...»

Иногда мне начинало казаться, что провалы памяти из того мирного прошлого — не только вина контузии и не то одно, что война вытеснила детство более сильными впечатлениями, поразившими неокрепшее воображение, но и то еще, что между *тем* мною и *этим* мною легла пропасть в понимании жизни — все, что я чувствовал, о чем думал, что меня интересовало и заботило, все это настолько не соответствует нынешнему опыту, что для воспоминаний нет некоей общей точки соприкосновения.

Мы можем помнить только лишь то, что нам нужно помнить. Но нам давно ни к чему розовые заблуждения и слепая наивность незнания. Мы знаем! А из того, что знаешь, все ли нужно оживлять в памяти?

Память — дрессированная собака. Ей достаточно намек на желание, она выполнит автоматически. Или не выполнит,

если мы не попросим ее. Память — верный пес, верный друг, по-собачьему преданный хозяину. Она понимает с полуслова: ложится у наших ног и чутко дремлет. Ее присутствие, как присутствие совести, — беспокоит, но прогнать ее в нас не хватает сил и смелости. Где-то мы понимаем, что прогнать память — как прогнать совесть. Мы не можем стать другими, чем мы есть. Такими, какими мы стали.

И я опять подрываюсь на воспоминании.

## МАМА

Когда мы собирались ехать в Анапу и упаковывали вещи, мама напевала:

И с боя взятыми рабами  
Суда в Анапе нагружать...

Она пела это на мотив «и за борт ее бросает в набежавшую волну», и папа смеялся.

Маме очень хотелось поскорее увидеть эту Анапу, романтический порт, основанный древними греками, куда черкесы продавали пленниц с миндалевидными глазами. Такими их рисовал сочинский художник Гринько, первый живой художник, которого я видел. Ходил он в соломенной шляпе, был худ и всегда голоден. На тонкой изогнутой шее, похожей на шею грифа из иллюстраций Брема, всегда красовался шелковый платок черного цвета. Глаза у Гринько были небесно-голубые.

Когда он сидел в тени платана на горке и рисовал море, лицо его выражало презрение и неприступность. Его худая кисть небрежно роняла краску на полотно мольберта, а глаза, которые Гринько время от времени прищуривал, вглядываясь в горизонт, полыхали синим огнем. Все прохожие говорили шепотом и переходили на цыпочки, приближаясь к месту священнодействия художника.

Однажды на пляже он приподнял соломенную шляпу, когда поравнялся с нами. Мама удивленно вскинула брови, а папа сказал:

— Держу пари: через три дня он попросит тебя ему позировать...

Папа сказал это весело, безо всякой задней мысли, но мама обиделась. Она была строгой и таких шуток не одобряла.

Папа потом говорил, что пошутил, и сразу же забыл об этом. Но через два дня Гринько действительно попросил маму ему позировать. Мама отказалась, но вспыхнула от удовольствия. Папа, едва Гринько, долго шаркая ногой в белой парусиновой туфле по песку, удалился, опустился на песок и стал кататься, давясь от смеха.

— Я не совсем понимаю причину веселья,— строго сказала мама.

Но папу уже нельзя было остановить — он хохотал и махал рукой, как бы просил не смешить его.

— Ах, так!..— Мама повернулась и ушла.

— Вернется,— сказал папа, и мы пошли в воду.

Но мама не вернулась, и домой мы шли несколько растерянные. Дома ее не было, и мы пошли ее искать. Папа спросил у хозяйки, где живет Гринько, и мы пошли к нему. Художника все знали, жил он неподалеку. Маленький домик утопал в зелени. Мы постучали в калитку, залаяла собака, потом вышел Гринько и радостно повел нас на террасу. Он работал углем, и руки его, когда он здоровался, были испачканы — папа протянул руку, а он выдвинул локоть, это я заметил. Гринько спросил о маме, и папа, растерянно моргая, что-то обещал ему «на той неделе непременно...» Мне хотелось есть, но Гринько водил нас по комнатам и показывал картины. Папа хвалил их и поглядывал на часы.

Вечером мама пришла домой, и они отправили меня спать пораньше, а сами долго говорили о чем-то в беседке.

Утром все было как всегда, но после чая пришел Гринько. Оказывается, папа все-таки пригласил его не «на той неделе». Мы пили чай с вареньем, и художник смотрел на маму, а мама без конца говорила мне, чтоб я не болтал ногами, хотя я вовсе не болтал ими, так как всегда переставал болтать, когда мне делали замечание. Странно и обидно, что мама была такой невнимательной на этот раз. Когда она в пятый раз сказала мне про ноги, я поднял край скатерти и посмотрел на свои ноги — не двигаются ли они сами по себе, но они были тесно прижаты одна к другой.

На другой день мы все ходили к Гринько смотреть картины, и мама очень удивилась, когда узнала, что мы уже были здесь. Папа пожал плечами:

— Боречке так хотелось...

Я посмотрел на папу: врать так открыто! При мне? Это что-то новое. Но папа подмигнул мне, и я улыбнулся, мне стало легче. Врать у нас как-то было не принято.

Картины маме понравились. Сюжеты были южные, исторические. Больше всего виды старой Анапы. Ворота крепости. Бой фрегатов, окутанных белыми клубочками выстрелов. Анапа с моря. И знаменитая картина во всю стену, подписанная строками Пушкина из «Тазита»: «И с боя взятыми рабами суда в Анапе нагружать». Она изображала пристань, заполненную рабами в живописных одеждах, и турок с обнаженными кривыми шашками. Одни рабы сидели, дожидаясь своей очереди, понурые и опустившие головы, с кандалами на руках. Другие пытались вырваться из коричневых рук турок, грубо вталкивавших людей на деревянные мостки, ведущие на палубу огромного корабля, занимающего весь первый план картины. В центре палубы тянули руки к берегу полуобнаженные женщины с развевающимися волосами и выражением ужаса в больших миндалевидных глазах. Особенно запомнились мужчина и женщина, которых разлучали турки. Они тянули руки друг к другу, но женщину волокли на корабль, а мужчина оставался на берегу. Его держали четверо турок, но он почти вырвался, и казалось, сейчас все они впятером упадут в воду...

Вошла черная старушка, похожая на галку, и Гринько засуетился и стал похож на провинившегося мальчика. Когда она, оглядев маму с ног до головы, кивнула сыну утвердительно, он даже засопел от удовольствия. Позже мы узнали смысл этого события, его, так сказать, тайную символику. Мать художника пользовалась неограниченной и тиранической властью над своим сыном. Когда-то Гринько влюбился насмерть в одну девушку, но мать сказала, что свадьба будет только после того, как она, его мама, повесится. И Гринько остался с матерью. С тех пор он жил холостяком, а все женщины на его полотнах получали миндалевидные глаза, полные вопроса или ужаса. Такие были и у той девушки, которую увозили турки. Одалиски, бахчисарайские пленницы хана, пленные черкешенки и грузинки—все сочинские натурщицы — спрашивают с его полотен: как все это случилось?

Мать Гринько лично утверждала натурщиц, отдавая предпочтение мамам таких мальчиков, как я. Поэтому мамин портрет был написан. Два сеанса папа присутствовал при этом. Он сидел в плетеном кресле, которое называлось качалкой, и читал газету или дремал. Потом ему это надоело, и он перестал ходить к Гринько. Мама брала меня с собой, и я играл с их собакой, такой же худой и запуганной, как

хозяин, шерсть которой была испачкана в сепии и белилах. Мама приходила в белом платье без рукавов, с янтарными бусами на шее. Бусы были большие и, если их потерять о шерсть, притягивали бумажки. Мама просила разрешить ей читать. Она перестала смущаться Гринько и держалась с ним просто и естественно.

Но однажды, открыв книгу, которая всегда ждала ее в кресле, мама вынула из нее узкую полоску бумаги и порвала на мелкие кусочки. Гринько сломал кисть. Мама встала и позвала меня:

— Боречка, пойдем домой.

Когда мы открывали калитку, все время молчавший Гринько сказал маме дрожащим голосом:

— Я не хотел вас обидеть... Ради всего святого...

В этот вечер мама много смеялась.

На следующий день мама не пошла на сеанс, сказав папе, что портрет ей не нравится и нет смысла переводить время.

Через неделю мы уезжали в Орджоникидзе, а оттуда в расхваленную нам Анапу.

И накануне последний раз видели Гринько. Он принес картину, и папа все хотел дать ему денег, но художник отказывался. Он смотрел на маму голубыми глазами, и когда мы садились в бричку, снял соломенную шляпу и стал ею закрывать лицо. Я засмеялся, мне показалось, что он играет в прятки, но мама дала мне подзатыльник, и я осекся. На повороте я оглянулся: Гринько стоял все в такой же позе, закрыв лицо шляпой, но теперь мне почему-то не хотелось смеяться.

В Анапе мама наконец стала учительствовать — мы «осели на одном месте». Мамина школа была в старом особняке, который называли Генуэзским. Окна там были разноцветные и оттого пол в большом зале казался зеркалом калейдоскопа, а девочки и мальчики становились похожи на арлекинов. Я очень любил приходить к маме. Но учиться меня потом отдали в другую школу. Мама считала, что я не должен пользоваться преимуществами, то есть что там, где работает она, не должен учиться ее сын. А жаль.

Вообще мама воспитывала меня «жестко», как говорил папа. Он баловал меня, выполняя любую просьбу, вечно тискал меня и целовал. Честно говоря, мне это никогда не нравилось, и я даже зажмурился и весь сжимался. Так как папа много ездил в командировки, даже при нашей

оседлой жизни, каждый его приезд запоминался мне как праздник. Радовалась и мама, но она никогда не показывала виду. Обычно он приезжал рано утром или ночью, и первое, что говорило мне о приезде отца, — это запах табака. Я продираю глаза и улыбался: рядом с кроватью всегда лежал какой-нибудь подарок. Потом врывается папа и шумел, теребил меня, хохотал и куда-то вечно звал. Он минуты не мог посидеть дома, хотя каждый раз говорил, блаженно вытянув ноги в кресле:

— В гостях хорошо, а дома лучше. Все. Точка. Никуда не поеду.

Но никто на эти слова давно не обращал внимания.

Маму свою я любил всегда. Любил глубокой, спокойной и верной любовью. Даже если б перевернулся весь мир, ничего бы не изменилось. Она ничего не делала, чтобы снискать любовь. Она была строга и скупа на ласку. Но все, чем я наделен в жизни хорошим, — от нее. Она учила меня тем, что сама делала все, как надо. Справедливость, верность, честность, прямота, такт, отзывчивость были не отвлеченными категориями морали и нравственности, а нормой жизни. Так же, как нельзя утром не почистить зубы, нельзя было мне не помочь человеку, которому было трудно, или солгать товарищу, или переложить на кого-либо дело, которое я мог сделать сам. Я и сейчас не могу слышать, как близкие люди обсуждают, кому закрыть дверь, или подать вилку, или кто больше устал. Никогда, ни разу не слышал я от мамы упрека или жалобы. Она работала молча и очень много. И если я по эгоизму молодости порою привыкал к тому, к чему привыкать нельзя никогда — к тому, что мама работала слишком много и тяжело, — я не видел укора на ее лице, всегда просветленном, чистом и спокойном, как не видел слез отчаяния или растерянности. У нее была большая сила воли. И самоотверженность — главное материнское качество.

Сашина мама не меньше любила своего сына. Но злой эгоизм, месть мужу и его матери за неудавшуюся жизнь, за то, что ее душило чувство неполноценности, постоянная зависть к тем, кого она именвала «счастливыми» и «богачами», хотя все богатство этих людей состояло в умении любить людей и делать добро, а потому и жить свободно и естественно, загнали человеческие чувства в душе тети Ганки так глубоко, что только один человек на свете, сын, понимал ее и не мог не простить.

С годами только я осознал сложность маминого отноше-

ния к отцу. Она очень любила его. Но папина легкость отношения к жизни, поспешная загораемость новыми идеями, нежелание учиться серьезно и сосредоточиться на главном деле всей жизни не могли не огорчать ее. Мама много читала, оригинально думала, ей были понятны сильные и прочные чувства, интересные и незаурядные люди. И свою постепенно нараставшую обиду на то, что папа не всегда хотел ее понять, торопился понять по-своему, то есть поверхностно, мама с годами превратила в ревность. Ей стало казаться, что папа просто мало любит ее. А он не мог любить иначе.

Долго, очевидно, шла эта невидимая миру борьба воли, стремлений, характеров, пока не настала очередь папе почувать что-то неладное, не совсем ладное в их отношениях. Он не мог не понять мамино превосходство. Мама была учительницей, она оставляла глубокий след: не одно поколение ее учеников вышло в люди — людьми... Ее знали и любили рыбаки и служащие, военные и колхозники, матери, деды и братья ее бывших учеников. Папа к старости растерянно увидел, что вокруг него все осыпается: авторитет удачливого организатора, здорового и веселого мужчины, которому все давалось легко; слава оригинального рационализатора и экспериментатора, о котором ходили легенды; человека, умевшего очаровывать подчиненных, щедрого, расточительного, широкого человека. Он нервничал, не понимал сам, чего хочет.

Когда я приехал в Анапу после войны, мы пошли с ним на Высокий берег. К маяку. Город еще не совсем отстроился, и вечером казалось, что мы идем по незнакомому месту, хотя все угадывалось, все было полно щемящим смыслом.

В тишине ранней осени была какая-то грустная прелесть. Акации туманно желтели в сумерках. Мы шли по нашей старой улице, и стук шагов раздавался особенно одиноко.

— Слышишь, папа? — спросил я, уже угадывая море.

— Слышу, сынок, — тихо отозвался отец. — И очень он тебе мешает?

Я горько усмехнулся. Да, протез. Конечно, он скрипит довольно противно. Как же я забыл? Все повторялось. Но теперь спрашивал о море я. А отец уже не думал о нем. И мне вдруг стало очень жаль отца — доброго, сердечного, щедрого.

Маяк был новенький, глазастый, как стрекоза. И никакого чуда не было. Море лежало спокойное и равнодушное.



Я внимательно посмотрел на отца. Он стоял сгорбленный, седой, неподвижный. Я спросил неожиданно для самого себя:

— Почему ты плакал тогда?

Он удивленно посмотрел на меня. И ничего не ответил. В море боролся с волнами мальчишка. Он плыл к берегу, но его относило. Мальчишка хохотал. Отец махнул рукой и весело сказал:

— Выплывет! — Потом повернулся ко мне: — Ты о чем меня спрашивал?

— Мы приехали из Сочи. Ты повел меня сюда, к маяку. Был шторм. Я был маленький, но помню — ты плакал...

Отец подумал и ответил внятно и спокойно, даже чересчур спокойно:

— В Сочи был художник, бедный, неудачник какой-то. Он мне казался жалким. Я смеялся над ним. Он написал мамин портрет. Мазня. Я думал, и мама не относится серьезно к нему. Но по дороге она сказала, что... что он одержимый человек, что только такие люди умеют любить. И что счастье этой оставленной девушки, что ее так любили. Меня это огоршило тогда, понимаешь?

— Понимаю, — еле слышно говорю я.

Если бы он знал, как много я теперь понимаю! Не дай ему бог узнать!

## ГОРЬКОЕ ВИНО, ИЛИ КАК СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ

Анапа. 1945 год. Я уже два дня на родине. Обхожу стороною улицу, где стоит маленькая дачка Ивановых. Лето. Тетя Лиза, старенькая — глаза на мокром месте, рассказывает мне, как немцы угнали в Германию дядю Мишу, как румыны унесли на полотенцах пианино, как их загнали наши в море, когда наступали, и как они, несколько сотен, стояли по колено в воде на пляже, под солнцем, с поднятыми руками и кричали, что они сдаются, сдаются...

Она сохранила письма генерала авиации Башьяна, который «жив-здоров», чего и мне желает и зовет «в прекрасный Ереван, который весь розовый от розового туфа новых кварталов»; она записала для меня адреса моих друзей по авиаполку, с которыми я воевал; она порадовала меня, что младший Бойко, бывший санитар, работает вторым секретарем райкома партии...

Она рассказала даже о том, как Тобик бросился на офицера-немца, как тот застрелил его из пистолета. И как она отобрала нашу terrasную дверь, которую какой-то предприимчивый хозяин пытался было приспособить вместо калитки, подняв с развалин нашего дома...

Дача Ивановых была всего в двух кварталах от нас.

Утро. Я иду на автостанцию. Провожают меня Гога и тетя Лиза. Заворачиваю за угол Черноморский и прямо на встречу мне идет... Лена.

Я узнал ее сразу, с первой секунды, даже не рассмотрев как следует: белый сноп выгоревшей челки, широкий замах сильной руки, крепкие ноги в тапочках, простой ситцевый сарафан... Голова закружилась. Я прислонился к стене дома и снял почему-то фуражку, поправил офицерский погон, вытер лоб... А она приближалась, широко открытыми глазами глядя на меня, на протез, и глаза ее наполнялись слезами радости... Потом она побежала.

Она обнимала меня и плакала. Она больно придавила мне шею. И я задыхался от ее тепла, от запаха кожи ее обнаженных рук, от мокрой щеки, которая терлась о мою бритую щеку.

— Лена!

В следующую минуту все было другое. Рядом с нами стояла Алиция Станиславовна, которой принадлежал этот голос — предупреждающий и чуть испуганный.

А за нею — высокий, черноволосый парень, который держал за руку мальчика.

Мальчику было года три. У него были глаза Лены — прямые и откровенные.

*Сталинград (без даты)*

...Тополя светятся в темноте, всей массой листьев и кронами — волнообразно, и с шумом волны наклоняются под сильными порывами ветра. Свет — из окна станции. А вокруг ночь. Душная южная ночь. И душный ветер.

Это воспоминание. Тоннельная. Ночь. Я провожаю друга. Кто он — неважно. Важно это ощущение предгрозя, налетающей бури, сухого шума листьев. Ожидания.

Почему вспомнилось?

Сейчас тоже была ночь. Пишу утром, а ночь еще во мне, в крови. И такие же тополя, только еще суше, пыльнее. И мотыльки на свет. Но свет мертвый, затененные фары.

И девушка с ветром борется. Шинель надута, как парус, светлые волосы относит на лицо, а руки заняты — держит носилки. Ветер пыльный и резкий с порошей по полам. Руки у девушки без перчаток, холодные.

Я передаю ей документы Захарова, перепачканные кровью. Она отпускает одну ручку носилок, я подхватываю, берет документы, прижимает их нежным подбородком, перехватывает снова ручку; меня зовут с грузовика, пора ехать. Санитарный фургон трогается.

Голова Захарова все еще качается в моих глазах, как она качалась на моих коленях недавно, пока мы не встретили санитарный эшелон.

Колени сквозь штаны мокрые и липкие. Я боюсь вытереть кровь: кажется кощунством. Но это пока. Там, в грузовике, в кузове, я их вытер, конечно.

Все произошло как-то совсем уж глупо, мимоходом. Мимоходом разворотило голову Захарову. Он пока не умер, но ясно — умрет. Вот тебе и «загадал...»! Я вспоминаю глаза Захарова, удивленные глаза — они оказались голубые, — голубые вопрошающие глаза над отечными щеками.

Это было вечером. Уже одна звезда горела. Не Захарова, видно.

А девушка нежная, молоденькая, шинель в накидку все съезжала с худеньких плеч. И подбородок нежный. А на нем следы крови от документов Захарова. «Мария, — сказал шофер фургона, — поехали, что ли?»

И опять воспоминание, острое как нож.

Это было в Анапе, в моем детстве.

Под ярким солнцем шла сумасшедшая Мария. Гречанка Мария. Она шла голая, в длинных черных волосах красный цветок. Волосами она закрывала грудь и придерживала их руками. За ней бежали злые мальчишки и с криками: «Мария! Мария!» — бросали в нее камни. Она шла прямо и только морщилась и вздрагивала, когда в нее попадал камень. Красивые ноги ее были у щиколоток в белых носках пыли, а выше — чуть-чуть светлее смуглоты спины. Я с ужасом смотрел на нее и на мальчишек. Ужас был смешан со стыдом и болью.

Вдруг один из мальчишек, забежав вперед, с яростью швырнул камень, и Мария остановилась, подняла руки к лицу, запоздало защищаясь. Я зажмурился, как будто увидел солнце...

Рассыпавшиеся волосы обнажили женскую грудь, которая продолжала медленно колыхаться. Так с зажмуренными глазами я и бросился на ее обидчика.

Помню соленый вкус крови во рту, губу, горевшую долго, и слезы стыда ночью.

И первые стихи.

Тогда я хорошо помню, был стыд не за поругание живого тела, не от жестокости моих сверстников — стыд за себя, по-воровски увидевшего красоту, стыд за опалившую меня на всю жизнь красоту женского тела.

Кровь на лице женщины... Мария, Мария...

Но это нежное лицо санитарки Марии, холодные пальцы, волосы, которые пахли ночью, югом, сиренью, хотя была резкая пыль пополам с порошей... Может, это любовь зовется так — Мария?

Мария, бедная Мария...

И я вдруг так сильно захотел, чтобы кончилась эта война, пусть Священная, пусть Справедливая, пусть Отечественная! Я так сильно захотел испытать единственное ощущение — взять холодные нежные пальцы в руки и дышать на них, и прижать их к шершавым, огрубевшим губам, и чтобы волосы, сносимые ветром, касались моего лица... И чтобы это длилось вечность!

Он сжег последние свои наброски, ноты, бросив все это в костер. Мне рассказал Никоненко, который видел его последним.

Часа в четыре дня, в туманный, сырой день, когда небо сплошь затянуто тучами и ветер несет как бы случайные снежинки, редкие, бесприютные, они виделись в последний раз.

Где-то играла гармошка, кто-то смеялся — рассказывал Никоненко. Они стояли с Сашей у машины. Он возвращался в Сталинград, комбат оставался навечно — его «списали», ранение было тяжелое.

Неподалеку горел большой костер, у которого грелись бойцы перед отправкой. В него и швырнул Саша какую-то пачку. Случайно. Потом, отнесенные ветром, отдельные лист-

ки поднял кто-то, обратив внимание на нотные значки. Но и их выбросили. Саша был лихорадочно возбужден, обнял Никоненко осторожно, сунул в карман халата мой адрес, сказал, что никого у него, кроме меня, не осталось.

Никоненко ждал жену свою Веру из Кустаная, где она жила в войну. Но письма ходили плохо, его выписали, а он все не мог дожидаться ни приезда жены, ни ответа. Она уже просто ехала к нему. Никоненко разминутся с ней и поехал в Кустанай. Вещмешок был с ним.

Вера собиралась после войны вернуться на родину, но вернулась не сразу. Болел Никоненко, потом ездили в Киев. А потом забрала мужа к морю. Так Сашин дневник попал наконец на родину. Вера принесла тетрадь моим старикам.

Вот самая последняя запись.

*(Без даты)*

Дождались!

Дождались наконец! Наступаем. Пятый день наступаем. Могучий поток — танки, самолеты в небе, едва успеваем, немец бежит. Навстречу нам другой поток — пленные. А как играют «катюши»! Против нас стояли румыны и итальянцы. Обмороженные, оборванные. И странно слышать речь бывших римлян, когда они лепечут оправдания...

Я допрашивал румын по просьбе начштаба полка. Они немного понимают французский. Один маленький, худенький румын напомнил мне Геру. Где он, кому врет, милый лгунишка?

Так легко, так хорошо мне теперь! Я дышу другим воздухом: знаю — мы победим. Мы чувствуем перелом, мы знаем: что-то сломалось там, у Гитлера. Он уже не страшен. Когда враг перестает быть страшным — это уже его поражение.

Как жалко, что Борис далеко и не чувствует этого! Я написал ему набобум — в Баку.

Скоро, скоро мы кончим эту тяжелую войну и я начну писать как одержимый. Только теперь я буду иметь право сказать людям так, чтобы они не могли и сомневаться, что я имею для этого основания. Все, что я писал — и музыка и проза моя, — все должно было сгореть. Только сейчас я и они, милые, хорошие люди вокруг меня — братья! Только сейчас получил я право на песню.

Впереди все новое — жизнь, надежда, любовь.  
Начинается жизнь!  
Неужели я увижу море?

Моря он не увидел.

Он упал в песок, промерзший зимний песок калмыцких степей. Он бежал в атаку и кричал «ура». Он упал, подогнув ногу и отбросив автомат. Так рассказывали мне, со слов очевидцев, супруги Никоненко.

Вот и все о моем друге. О его короткой жизни. О судьбе, которая уже в самом начале так много обещала.

И о том, какими мы были.

И еще раз встает передо мной тот теплый вечер тысяча девятьсот сорок шестого. В старой беседке, увитой виноградом, сидят со мной мои старики и друзья, уцелевшие и новые.

Мама, совсем седая, приносит граненые стаканы и моет их под краном водопровода тут же у входа в калитку. Дурманяще пахнет «изабелла». Мотыльки бьются о лампочку, осыпая пыльцу. Отец дрожащей рукой — тоненько позвякивает стекло — разливает молодое, туманное вино.

Я смотрю на Ваську Губана. Доброе, широкое лицо, пшеничный чуб, гимнастерка расстегнута, планок — не сосчитаешь. Полковничьи погоны. Он остался в армии. Командир дальнего гарнизона.

Тихо спрашивает про Флору. Я качаю головой: не пришла. Но вот скрипит калитка и по каменным плиткам меж кустами сирени стучат каблучки... Такая же, как была: толстушка-хохотушка с карими глазами, ямочками на щеках и веснушками — все при ней осталось! Веселенький сарафан и толстые губы в трещинках. «Вина ей, вина!..»

Гога-спасатель — теперь военком местный; все такой же славный и компанейский парень, глаза полужакрты — томится, глядя на стаканы.

— Встанем, — говорит папа. Он торжествен. На нем украинская вышитая рубашка, сквозь разъехавшиеся края вырезного воротника буйно лезет жесткая седая поросль.

Все встают.

Никоненки берут стаканы первыми.

Пьем мы стоя. Молча.

Я хочу сесть, но отец говорит строго:

— За Сашу.

И я задыхаюсь от глотка.

— За Гришу. Он пал героем. Четыре ордена.

«И четверо детей», — думаю я. И пью до дна.

— За Николая Николаевича Иванова. Инфаркт в День Победы...

Долго нам стоять за этим столом. И «Рислинг» кажется горьким.

И потом я перевожу глаза на маму. Седая, строгая, в очках, перевязанных черной ниткой, глаза за стеклами почти бесцветные от слез, которых я никогда не видел.

Мама улыбается мне спокойно и уверенно, как всегда.

Я смотрю на отца, когда-то красивого и полного, с уверенными жемами и ослепительными зубами.

Война...

Отец говорит всем, а глазами — мне:

— Ничего. Все позади. Мы еще поживем!

И в глазах его те старые, забытые искорки.

«Выплывет!» — радостно отозвалось во мне.

И я смотрю на Никоненко, вижу его твердый подбородок, умную усмешку стальных глаз, достоинство и уверенность его осанки. Он кажется не инвалидом, а человеком, начинающим большую и долгую жизнь.

Я не могу рассмотреть себя. Но себя я, кажется, начинаю видеть по-новому.

Взрослым.

# О Г Л А В Л Е Н И Е

О маяке, калейдоскопе и городе Анапе . . . . .	5
Про сны . . . . .	9
Последний бой . . . . .	13
Девятнадцать лет . . . . .	19
Письмо Лены . . . . .	24
Мой дом . . . . .	28
Как я учился музыке . . . . .	32
Цветное море . . . . .	35
Мой двор . . . . .	38
Пещера . . . . .	42
Сокровища «Эльпидифора» . . . . .	45
Мой дедушка . . . . .	51
«Пора кончать воспоминания...» . . . . .	54
«Глупости невероятные» . . . . .	56
«Странный мальчик» . . . . .	60
Тетя Ганка . . . . .	65
Бранятся и мирятся . . . . .	70
Сашина повесть . . . . .	74
Интернационалисты . . . . .	76
Папа . . . . .	83
Как мы меняемся . . . . .	89
Как Саша понимал музыку . . . . .	93
Как Саша понимал ноты . . . . .	98
О Таврия, Таврия! . . . . .	102
Опять Сашин дневник . . . . .	108
Как я стал учителем . . . . .	112
Смерть Кости Челикиди . . . . .	115
Легкие сны . . . . .	117
Саша встречает Лену . . . . .	121
Азорские острова . . . . .	125
«Лекок-лепупье...» . . . . .	129
О Нюре, пятистенке и справедливости . . . . .	132
«...В зеленых плакали и пели» . . . . .	135
Просто хочется жить . . . . .	143
Мама . . . . .	147
Горькое вино, или Как становятся взрослыми . . . . .	153

Для старшего возраста

*Огнев Владимир Федорович*

ЗЕЛЕНОЕ, КРАСНОЕ, ЗЕЛЕНОЕ...

Ответственный редактор *Г. В. Быстрова*. Художественный редактор *М. Д. Суховцева*. Технический редактор *Л. В. Гришина*. Корректоры *К. И. Каревская* и *Т. Ф. Юдичева*.

Сдано в набор 19/X 1971 г. Подписано к печати 2/III 1972 г. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 10. Усл. печ. л. 9,33 (Уч.-изд. л. 9,22). Тираж 75 000 экз. ТП 1972 № 54Р. А03259. Цена 41 коп. на бум. № 2. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва. Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 3041.







Цена 41 коп.

